

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА **Р** БОЛЬШИЕ КНИГИ



Юлиан
Семенов



ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Романы

« А З Б У К А »



Русская литература. Большие книги

Юлиан Семенов

Противостояние. Романы

«Азбука-Аттикус»

1963-1979

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Семенов Ю. С.

Противостояние. Романы / Ю. С. Семенов — «Азбука-Аттикус», 1963-1979 — (Русская литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-21730-0

Юлиан Семенович Семенов – русский писатель, историк, журналист, автор знаменитого романа «Семнадцать мгновений весны» (1970) и еще полутора десятка произведений о разведчике-нелегале Максиме Исаеве (он же Макс Отто фон Штирлиц), чье имя и образ приобрели в позднесоветскую и постсоветскую эпоху поистине культовый статус. Однако, помимо романов о Штирлице, Ю. Семеновым написано несколько прозаических циклов с участием других героев – в том числе включенная в настоящий сборник детективная трилогия о работе оперативников Московского уголовного розыска во главе с майором (впоследствии полковником) Владиславом Костенко: «Петровка, 38» (1963), «Огарева, 6» (1972) и «Противостояние» (1979), – считающаяся, наряду с «Семнадцатью мгновениями...», вершиной творчества писателя. Динамичное действие, рельефно очерченные человеческие характеры, документальность фабулы, достоверность нюансов повседневной милицейской работы сделали эти книги бестселлерами и предопределили их перенос на кино- и телеэкраны. С одним из персонажей этой трилогии – журналистом Дмитрием Степановым – читатель встречается и в романе «ТАСС уполномочен заявить...» (1979). Детектив о деятельности советской контрразведки, нейтрализовавшей агента ЦРУ по кличке Умный и сорвавшей военный переворот в вымышленном африканском государстве Нагония, частично основан на реальных событиях (так называемое дело Огородника) и лег в основу одноименного многосерийного телефильма (1984), который, как и экранизации других книг писателя, вошел в золотой фонд советского кинематографа.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-21730-0

© Семенов Ю. С., 1963-1979

© Азбука-Аттикус, 1963-1979

Содержание

Петровка, 38	6
Интродукция	6
Милиционер Копытов	7
Первые сутки	11
Вторые сутки	27
Третьи сутки	45
Четвертые сутки	59
Пятые сутки	107
Огарева, 6	118
I. Утро полковника Костенко	119
II. День делового человека	125
III. Вечер интеллигентного бандита	128
IV. Фактор времени	132
V. Человек, изучивший кодекс	141
VI. Личные связи	147
VII. Размышления в тюремной камере	156
Конец ознакомительного фрагмента.	157

Юлиан Семенович Семенов

Противостояние

Петровка, 38

Интродукция

– Слышь, Сань, ты не думай, я умный. Я все под контролем держал. Точка в точку сойдется. Он тут ходит, Сань. Он старый, силы в нем нет, а пистолет – на боку. Иль сменщик его – тот молодой, Сань, но это ничего, он молодой, да глупый. А пистолет нам нужен. Безрукие мы, когда пистолета нет. Слышь, Сань, ты не трясися, не надо, я на риск не хожу, я всегда точно хожу, я все семь раз промеряю... Ты не трясися, не надо, Сань...

– Я и не трясусь.

– Кассу возьмем на разживу, я ее заметил, кассу-то. А потом у меня два адресочка есть. Профессор и музыкант. На всю жизнь обеспечимся, только ты, Сань, не трясися. Видишь, у меня рука холодная, это спокойный я, не боюсь, уверен я...

– Помолчи, Прохор.

– Да ты не тревожь себя, Сань. Ты думаешь, это страшно? Не-е, Сань. Человек как петух помирает, он в смерти тихий. Он ее с благостью принимает. Я знаю, я сам мертвым был.

– Когда он пойдет?

– Скоро, Сань. Скоро один из них пойдет. Вот держи кастет, он свинцовый, сразу валит, без звука. Ишь руки у тебя трясутся. Ты их погрей, руки-то, под мышку сунь, они свое тепло почуют, отойдут. Бить надо слабой рукой, она звереет, когда слабая-то.

Милицционер Копытов

Милицционер Копытов заступил на дежурство в двенадцать часов ночи. Он шел по уснувшей улице не спеша, мурлыча под нос старую тягучую песню. Он помнил ее с детских лет, когда бабка Фрося, вспухшая и громадная, как сундук, тянула эту песню, громяхая у плиты чугунными горшками.

Копытов остановился и, прикрыв лицо от ветра, чиркнул спичкой. Закурил.

Он затаился и, остановившись под фонарем, посмотрел на часы. Вздохнул, потому что вспомнил Генку – своего средненького. Утром, запершись в уборной, курил, сукин сын, а ведь только двенадцать стукнуло. Копытов долго раздумывал, стоит ли говорить жене, но потом все же решил не говорить. Он решил сам потолковать с Генкой по душам и увел его из дому. Копытов сел на скамеечку и начал Генку уговаривать. Генка молчал и мрачно глядел себе под ноги. Копытов говорил и говорил, и чем дальше, тем ясней чувствовал, что говорит он совсем не то, что следовало бы. Когда-то на него очень сильное впечатление произвел доклад, который сделал у них в отделении старичок-доктор. Особенно его поразило, когда доктор рассказывал, что никотином, если его собрать из одной пачки «Беломора», можно убить лошадь... И еще Копытову понравилось, когда старичок сказал, что лучше выпивать сто граммов водки перед обедом, чем курить хоть одну папиросу.

«Генке этого не выложишь», – подумал Копытов.

Он долго молчал, а потом сказал так:

– Эх, Генк, Генк... Вот ты молодой, а куришь. Я хоть и старый, а ты меня все равно не догонишь, если побежим.

– Догоню.

– Не...

– Догоню, пап, ты лучше не предлагай. Я в школе кросс первым пробегаю.

Копытов рассердился и подумал: «Ишь, сопляк, а самоуверенный».

– Я что сказал? – спросил он. – Или не слышишь? Беги!

Генка поднялся и снова уставился в землю.

– Давай до ворот! – сказал Копытов и побежал.

Он слышал Генкины шаги у себя за спиной. Он бежал все скорей и скорей, но уже ясно понимал, что долго так не пробежит, потому что начал задыхаться. Он обернулся и увидел Генку совсем рядом. Тот бежал легко и, конечно, мог бы легко его обогнать. Копытов остановился и долго дышал носом, чтобы восстановить дыхание. Потом сказал:

– Вот штука какая... А ты, понимаешь, спорил со мной.

– Я не спорил.

– Упрямый ты.

– Я понарошку курю, пап...

– Она как зараза. Сначала понарошку, а потом не вылезешь. А ведь двадцать копеек за пачку. Помножь ее на триста – вот тебе и велосипед к празднику купим.

– А почему на триста?

– Год получится, не понимаешь, что ль? Триста дней – год. Умножь на двадцать две копейки, если «Беломор» считать.

– В году триста шестьдесят пять...

– Ну, округлил я.

– Округлил, а выйдет не мужской, а подростковый.

– Так ты ж и есть подросток.

– Я пока подросток, а зато на нем переключения передач нету. А без переключения – разве это машина?

– Я тебе переключение сам устрою.

– А сможешь?

– Чего не смочь? Конечно смогу.

Генка вздохнул, а потом улыбнулся.

– Пап, только это у нас как в сказке. Откуда мы с тобой по двадцать две наберем? Мамка ведь не будет нам специально на папиросы деньги давать. И потом – я не «Беломор», а «Дукат» все больше курю, а он всего семь копеек стоит.

– Высеку я тебя, Генка, – сказал Копытов, – а то уж больно ты дерзкий.

– Я не буду курить, пап, честное слово.

– Еще мать узнает... Знаешь, что будет?

– Знаю...

– Женщины, они ведь, сынок, нервные. А если еще это дело...

Копытов внезапно замолчал, потому что дальше он хотел говорить о водке, но вовремя спохватился, поняв, что с Генкой об этом говорить никак нельзя.

– Какое дело? – спросил Генка.

– Да так, к слову...

– Про двести с прицепом, что ль? – засмеявшись, сказал Генка. – Ты все думаешь, я маленький, а я через три года на завод пойду...

Копытов поздоровался с дворниками, которые сидели на скамейке около дома номер семнадцать.

– Здравствуйте, Кузьма Семеныч, – ответили дворники в один голос.

– Все спокойно у вас?

– Порядок.

– Лешка из девятой не буянил?

– Притих.

– Мы ему в отделении сказали: еще раз напьешься – выселим из Москвы...

– Не, пока не нажирался, – сказал дворник Хайрулин.

– Парень хороший. На баяне играет, – сказал дворник Афонин.

– Слышь, Афонин, – спросил Копытов, – а в нашем универмаге велосипеды подростковые есть?

– Есть.

– А взрослые?

– Взрослых давно не завозили...

– Но бывают в продаже-то или химичить надо?

– Иногда бывают...

– А сколько стоит, не знаешь?

– Откуда я знаю, – ответил Афонин, – я свое откатал.

– Ну ладно... Завтра узнаю.

– Скоро к нам вернетесь?

– А вот участок обойду...

– Да посидите, Кузьма Семеныч... Покурим...

– Вернусь – и покурим... Я недолго...

Копытов шел вдоль темной аллеи. Он увидел согнутое молодое деревцо и начал рыться в карманах. Нашел кусок бечевки и подвязал деревцо к шесту, вбитому рядом.

Он отошел еще с полкилометра и увидел на скамейке двух мужчин. Они сидели, низко опустив головы.

Копытов подошел поближе и сказал:

– Ребятки, домой пора. Поздно.

Мужчина, что постарше, замотал головой и замычал что-то невнятное. Второй икнул и улыбнулся Копытову странной, мертвой улыбочкой. Копытов заметил, что лицо его бледно и покрыто испариной.

– И чего напились? – спросил Копытов. – Где живете? Пошли, помогу дойти хоть... Вот ведь нажрались-то, а...

Второй поднялся и стал раскачиваться с носка на пятку. Копытов взял его под руку. Удивился, потому что от человека совсем не пахло водкой.

– Или ты больной? – спросил Копытов. – Никак больной?

– Б-больной.

Копытов обернулся, чтобы спросить того, что помоложе, но ничего не успел спросить, потому что страшной силы удар обрушился на него, смял и бросил на землю. Падая, он увидел Генку, который ехал на взрослом велосипеде, жену и бабушку Фросю. Она пела песню и возилась с тестом. А потом все исчезло, стало лишним и безразличным ему – отныне и навсегда.

– Пусть шофер включит прожектор, – сказал оперуполномоченный МУРа Росляков.

Яркий свет прожектора резанул ночь легко, словно острый нож – кусок черного хлеба. Ночь раскололась надвое, и все увидели мертвого Копытова. Он лежал, сжавшись в комочек, щупленький старый человек с большими руками крестьянина. Его руки словно жили еще. Они обнимали землю, сквозь которую пробивалась первая зелень, казавшаяся синей в белом свете прожектора. Росляков долго и внимательно рассматривал голову милиционера, пробитую у виска чем-то тяжелым.

– Вы еще будете долго работать? – спросил он эксперта.

– Право, не знаю. Он очень плохо лежит. Где фотограф, товарищи?

– Тогда вы работайте, а я поговорю с людьми.

Дворники ничего путного рассказать не могли, потому что, кроме самого Копытова, никого не видели, голосов не слышали, и вообще ничего такого, на что следовало бы обратить внимание, сегодня не случилось.

– Он все смеялся: «Велосипед куплю», – сказал дворник Афонин.

– Он тут у вас ни с кем не ссорился?

– Да господи, он же человек мягкий.

– Был, – поправил дворник Хайрулин, – был человек...

Проводник собаки Еремушкин, вернувшись, сказал, что след оборвался в километре отсюда, около стоянки такси.

– Там машин нет?

– Пусто.

Оперативник из отделения, ходивший вместе с Еремушкиным, сказал:

– Проходящая машина была, тормозной след посередине улицы оборван.

– Вы замеры?

– Да. И ширину и длину.

– Позвоните к дежурному, пусть сообщит в ОРУД.

– Хорошо...

После этого Росляков начал осторожно – метр за метром – осматривать землю вокруг убитого милиционера. Прежде чем сделать шаг, он внимательно обследовал то место, куда надо будет поставить ногу. Он помнил, как однажды комиссар сказал ему:

– Знаете, у кого надо учиться осторожности? У слепых. Они, пока место, куда надо ступить, не ощупают, ногами не шевельнут.

Росляков запомнил это и потом много раз убеждался в точности комиссаровских слов. Он сделал еще несколько шагов и сказал эксперту:

– Тут есть след.

– Сейчас.

Росляков осторожно подобрал окурок «Казбека» и в метре от окурка увидел окровавленную перчатку.

– Товарищ лейтенант, – окликнул его эксперт, – у Копытова пистолет срезан. Прямо с кобурой. Видно, за оружием охотились.

...Последовавшие за этим убийством события подтвердили предположение эксперта. В Москве начала орудовать банда вооруженных грабителей.

Через неделю утром комиссар вызвал к себе начальников двух ведущих отделов и спросил:

– Чем сейчас занимаются Костенко, Росляков и Садчиков? Снимите их со всех дел. Будем создавать специальную группу. Вызывайте сотрудников ко мне на совещание...

Первые сутки

Специальная группа

– «8 мая 1962 года в 12:20 двое неизвестных в темных очках зашли в помещение скупки № 1678 по Средне-Самсоньевскому переулку и, угрожая пистолетом и ножами, забрали у работников скупки 384 рубля. Пригрозив, преступники потребовали не выходить из скупки в течение десяти минут после того, как закроется дверь. Работники скупки слышали, как заработал автомобильный мотор, но, когда они вышли, переулок был пуст».

«12 мая 1962 года в 17:45 двое преступников в темных очках вошли в домовую лавку по Холодному переулку, дом № 10/9, заперли дверь, перерезали телефон и, угрожая оружием, потребовали выдачи денег. Забрав дневную выручку в количестве 272 рублей, преступники скрылись в неизвестном направлении».

«16 мая 1962 года трое неизвестных зашли в приходную кассу № 765/941 по Большому Васильевскому переулку, дом № 17, заперли дверь, перерезали телефон и, угрожая пистолетом, потребовали у работников кассы всю дневную выручку. Контролер Быкова А. В. вступила в пререкания с преступниками. Воспользовавшись этим, кассир Ямщикова И. Б. нажала сигнальную кнопку. У входа раздался звонок. Преступник выстрелил в Ямщикову И. Б., но промахнулся. Преступники скрылись».

Комиссар кончил читать, несколько раз чиркнул зажигалкой, посмотрел на длинный язык пламени, осторожно дунул на него и закончил:

– Таким образом, все эти три ограбления совершены, бесспорно, одной бандой. Мне кажется, что цепочка эта организовалась после убийства Копытова. Так мне кажется... Выделяю специальную оперативную группу. Прошу Костенко и Рослякова задержаться, остальные свободны. Садчиков будет руководителем, так что вызывайте его из отпуска.

Кассир Ямщикова все время терла щеки, будто они у нее замерзли. Она говорила медленно, спотыкаясь, и, когда начинала новое слово, ноздри у нее раздувались и лоб стягивали морщины.

– Я сегодня с утра стала разбирать вчерашние документы, после того случая. Думала, все ли на месте. И вот нашла...

Она протянула Костенко расчетную книжку по уплате за коммунальные услуги. На первой желтой страничке было написано: «Самсонов Алексей Алексеевич. Улица Льва Толстого, дом 64, квартира 249».

Костенко записал фамилию и адрес на листок бумаги и пошел к телефону.

– Самсонов, – сказал он дежурному. – Да нет же, лучше я по буквам... Семен, Анна, Михаил... Самсонов. Немедленно наведите справку. Мы сейчас вернемся, так что поторопитесь.

Папа с мамой

Костенко даже не успел подняться к себе – дежурный сказал, что комиссар просит немедленно зайти к нему.

Костенко вошел в кабинет.

– Знакомьтесь, – сказал комиссар, – это товарищ Самсонов Алексей Алексеевич.

Самсонов поднялся со стула. Лицо его было опухшим и очень бледным.

– Здравствуйте, – сказал Костенко.
– Вот знаете ли, сын у Самсонова пропал. Ленька. Семнадцать лет парню. Домой не вернулся, папаша переживает.

Самсонов спросил:

– У вас курить можно?

– Чего ж нельзя, можно. Женщин нет.

– Благодарю.

– Благодарить будете, когда сын отыщется.

– Я не спал всю ночь.

– Еще бы! Костенко, свяжитесь с бюро несчастных случаев.

– Уже...

– Ну?

– Там ничего.

– Вы фотографии сына принесли? – спросил комиссар.

– Да.

Самсонов положил на стол десяток фотографий Леньки. Комиссар долго рассматривал парня, а потом спросил:

– Сами снимаете?

– Жена. Я только проявлял.

– Проявитель готовый берете или дома составляете?

– Нет, сам составляю... Вместе с Ленькой.

– Семейная артель?

Самсонов махнул рукой.

– Семейная канитель, – сказал он, – какая тут, к черту, артель!

– Пленка хорошая. Где покупали?

– Это немецкая.

– Мелкозернистая?

– Да.

– А я, знаете ли, в воскресенье все магазины обошел – чувствительность сорок пять, и только.

– Вы с блицем попробуйте снимать.

– Какой же портрет с блицем? Это только встречи на аэродроме с блицем снимают. Ну-ка, Костенко, возьмите фото и сделайте копии. Позвоните, покажите, может, кто узнает.

Костенко сразу же позвонил к Ямщиковой, вызвал машину и поехал в приходную кассу. Он положил перед ней на столе несколько фотографий мужчин и подростков. Среди них была карточка Леньки Самсонова. Костенко положил ее с краю, прикрыв уголком другого фото так, чтобы она не бросалась в глаза.

Ямщикова увидела Ленькино лицо, побледнела и сказала тихо:

– Мальчик стоял у двери.

– Это точно?

– Абсолютно. Я не думала, что он такой молоденький. Они все тогда казались мне взрослыми.

– Стрелял не он?

– Нет, другой, в очках.

– А этот так и стоял у двери?

– Нет, кажется, тот, что был в очках, сказал ему: «Стань к окну». А там стол. А на столе я потом нашла расчетную книжку. Погодите, погодите, у него еще в руках была большая книга.

Совершенно верно, большая такая, в красном переплете. Это сейчас все вспоминается, вчера я вообще не могла в себя прийти.

– Понятно. А как книжка называлась, не помните?

– По темно-красному фону – черные слова, а я близорукая, название не разобрала.

Потом Костенко разложил фотографии перед контролером Быковой, и она тоже сразу, без колебаний опознала Леньку Самсонова.

– Он, ирод проклятый, – сказала женщина, – гадюка такая...

– Думаете, ирод? – переспросил Костенко и улыбнулся. – Ему всего семнадцать...

Прямо из кассы Костенко позвонил к комиссару и сказал:

– Он.

– Хорошо. Спасибо вам.

– Мне бы надо постановление... Посмотреть их квартиру...

– Вы давайте сюда подъезжайте. Тут решим.

Когда Костенко приехал в управление, Самсонов медленно пил валокордин. Комиссар подождал, пока тот допил лекарство, и спросил:

– Ну, в прятки нам играть или говорить открыто?

– Конечно открыто.

– Тогда рассказывайте, Костенко.

– Ваш сын, – сказал Костенко, откашлявшись, – вчера вместе с бандой грабителей совершил вооруженное нападение на приходную кассу. Они стреляли в женщину, но чудом не убили ее.

– Так, – сказал Самсонов. – Так, – медленно повторил он.

– Где он может быть сейчас? У родных, у друзей? Как вы думаете?

– Он должен вернуться домой, если жив.

– Он не вернется домой, Алексей Алексеевич. Это ваша? – спросил комиссар, положив на стол книжку расчета за коммунальные услуги.

– Наша, – тихо ответил Самсонов.

– Так вот. Ваш сын оставил ее на месте преступления. Теперь он будет скрываться, понимаете? Если он сразу не пришел к нам с повинной, он будет скрываться. Оружия у него не было?

– Что?!

– Вы проектировщик, в тайге бываете, у вас, видимо, есть нож. Или пистолет.

– У меня есть, но все это заперто в столе.

Комиссар снял трубку телефона, медленно негнуцимся указательным пальцем набрал номер, досадливо поморщившись, подул в трубку и сказал:

– Машину к подъезду.

Опустив трубку, он спросил:

– Как сердце, отпустило?

– Сейчас легче...

– Значит, так. Надо будет сейчас произвести в вашей квартире обыск. Пока будете ехать, постарайтесь вспомнить всех друзей Леньки. Понимаете? Всех! Без исключения. Костенко, поезжайте. Да, когда появится Росляков, немедленно отправьте его в школу. Какой номер, не помните, Алексей Алексеевич?

– Девятьсот шестидесятая.

– Хорошо. Спускайтесь вниз, там «Волга».

– До свидания, товарищ комиссар.

– До свидания, товарищ Самсонов.

Когда он вышел, комиссар сказал:

– Успокойте его как-нибудь. В институте о нем говорят – золотая голова.

Пистолета в столе у Самсонова не оказалось. Зато на этажерке в комнате Ленки Костенко сразу же увидел большую книгу в красном переплете с крупными буквами: «Александр Фадеев. „Молодая гвардия“». Он отправил одного из оперативников в приходную кассу, тот вернулся через полчаса и сказал:

– Та самая.

Людмила Аркадьевна, жена Самсонова, ходила следом за Костенко и шептала:

– Это ошибка, послушайте! Леша, скажи им, что это ошибка. Ну что же ты молчишь! Скажи им, что это ошибка.

– Нет, – ответил Самсонов, – это не ошибка.

– Он несовершеннолетний, – сказал Костенко, – так что, может быть, учтут.

– Нет, это ошибка, – повторила Людмила Аркадьевна, – несчастный мальчик, он ничего не подозревает.

– Перестань, – сказал Самсонов. – Надо было раньше думать.

– Холодный и черствый человек, – горько усмехнулась Людмила Аркадьевна, – сердце у тебя мохнатое.

– У меня, наверное, уже нет сердца, – ответил Самсонов и лег на диван. Он снова сделался зеленым, и кончики пальцев у него посинели так, будто отошли в жаре после жестокого мороза.

– Уходите же, – сказала Людмила Аркадьевна, – ему плохо.

Костенко тихо ответил:

– Я уйду, а два наших товарища у вас останутся. И к телефону я попрошу вас не подходить.

– Это произвол, – сказала Людмила Аркадьевна.

– Нет, – ответил Костенко, – это не произвол. Это засада.

Где Ленка?

В школе, где учился Ленка Самсонов, шли последние дни занятий. Росляков пришел туда во время перемены и сразу же оказался среди визга, шума и смеха. Солнце пронизывало насквозь коридоры, и в его желтых косых лучах носились белые пушинки тополей.

– Десятый «А» где? – спросил Росляков девушку, которая сидела на подоконнике с книгой, прижатой к груди.

– На пятом.

– Спасибо.

– Пожалуйста.

Росляков поднялся на пятый этаж и подошел к дверям класса. Там что-то кричали ребята, перебивая друг друга. Росляков поманил к себе парня с повязкой дежурного на рукаве, который ходил по коридору, наблюдая за порядком, и попросил:

– Ленку позови, пожалуйста.

– Какого?

– Самсонова.

– Так он же исключен.

– Почему?

– А он бульдога в класс привел.

– Ну и что?

– Ничего. Рычал. Галина Михайловна упала в обморок. Она собак боится. Ленку за гриву в учительскую, оттуда в милицию – и «ариведерчи, Рома».

– Это когда же было?

– Позавчера.

- А сейчас он где? Дома?
- Что вы!.. Он до этого-то домой только спать ходил. У него предки цапаются. Мы его искали, думали, чтоб он повинулся, пустил слезу, но нет нигде. Может, Лев знает.
- А это кто?
- Лев Иванович, учитель по литературе. Подпольная кличка – Лев без единого зуба.
- Почему Лев должен знать?
- А он у Льва любимчик. Стихи пишет.
- Хорошие?
- Ничего. Мне стихи бим-бом, я все больше по химии. А вы откуда сами?
- Знакомый его. Он мне трешницу должен был, велел зайти. А где его друг, тот... этот...

Ну...

- Сема?
 - Да.
 - Сейчас позову...
- Зазвенел звонок. Ребята бросились по своим классам. Из-за двери выглянул большеголовый черный парень и спросил:
- Это ты от Леньки?
 - Нет. Сам его ищу, – ответил Росляков. – Он у тебя заперся?
 - Да нет!.. Я его обыскался – нигде нет. Он ведь псих. Ты подожди, англичанка идет, после урока поговорим.
 - Ладно, – ответил Росляков и пошел к директору.

- Не может быть, – тихо сказал директор. – Когда это случилось?
- Позавчера.
- Позавчера? В какое время?
- В четыре.
- В час мы его исключили из школы.
- А в милицию его за бульдога надо было обязательно таскать?
- Это глупость. Меня здесь не было, понимаете? А завуч решила его припугнуть.
- Что, милиция в роли огородного чучела? Очень умно, а?!
- Да, да, вы правы, конечно.
- Великое преступление – бульдога привел!
- С другой стороны, не маленькое, по школьным законам.
- Закон есть один. Школьными бывают порядки.
- Да, да... Какой ужас! Талантливый парень, просто не верится... Что же делать? Где хоть он?
- Это я здесь хотел выяснить. Кто его самый большой друг?
- Он общительный мальчик. У него много товарищей.
- А Сема?
- Рывчук?
- Я не знаю. Черный, голова у него здоровая.
- Да, это он. Кажется, они дружат.
- Какой у него адрес, можно узнать?
- Сейчас.

Директор вернулся и положил перед Росляковым листик бумаги, на котором был написан адрес Рывчука.

- Да, кстати, – сказал директор, – он дружил с Тюриным. Он наш выпускник, теперь студент...
- Я позвоню, – сказал Росляков. – Вы разрешите?

– Прошу.

Росляков набрал номер и сказал:

– Слава, тут один адресок есть. Запиши, пожалуйста: Новый проспект, семь, квартира девять. Рывчук. Это его друг. И еще Тюрин, адрес надо выяснить.

Он положил трубку, вздохнул и спросил:

– А Лев Иванович ничего знать не может?

– Лев Иванович... Погодите, погодите... Вы правы... Очень может быть. Сейчас я его приглашу, у него как раз «окно».

Лев Иванович оказался стариком с бородой, совершенно беззубым, с удивительными голубыми глазами. Они у него были пронзительные и чистые, как вода. Он сел напротив Рослякова и спросил директора:

– Чем могу?..

Директор сказал смущенно:

– Вот товарищ...

– Я из угрозыска.

– Очень неприятно.

Росляков засмеялся:

– Даже так?

– Именно так... Угрозыск в школе – это всегда тревожно... Что вас к нам привело?

– Самсонов.

– Леонид?

– Да.

– Что-нибудь по поводу собаки?

– Нет. Он участвовал в вооруженном ограблении приходной кассы.

Лев Иванович поднялся. Секунду он стоял молча, а потом спросил:

– Когда это было?

– Позавчера в четыре.

– Тут не может быть ошибки?

– Нет. Мы ищем его. Вы ничего о нем не знаете?

Лев Иванович долго молчал, прежде чем ответить. Сегодня утром Ленька позвонил ему и сказал, что хочет прийти и поговорить. Лев Иванович назначил ему ровно на четыре. Ленька и раньше бывал у него, но всегда без звонка. Просто приходил, и старику не было скучно сидеть с ним вечера напролет. Парень был напичкан поэзией, и его стихи казались Льву Ивановичу талантливыми, совсем не школьными и не детскими.

– Нет, – ответил он наконец, – я ничего о нем не знаю.

– Самое худшее заключается в том, – сказал Росляков, – что парень украл у отца оружие.

Он как волчонок сейчас.

– Раскаяние и чистосердечное признание... Добровольная отдача себя в руки властей – это учитывается юрисдикцией или сие формальность? – спросил Лев Иванович.

– Учитывается, – ответил Росляков, внимательно поглядев на учителя. – Сие по новым временам – не формальность, смею вас уверить...

Ленька пришел к Льву Ивановичу ровно в четыре. Старик негромко крикнул из комнаты:

– Ты ноги, пожалуйста, вытри, я сегодня натер пол!

Ленька стоял в коридоре большой коммунальной квартиры возле открытой двери Льва Ивановича. Он стоял, закрыв глаза, устало опустив руки вдоль тела, взъерошенный, осунувшийся и по-мальчишески еще нескладный. Несколько раз он собирался переступить порог, но каждый раз что-то удерживало его, и сердце гулко падало в груди, а кровь прилиwała к голове и щекам. Потом он вошел и сказал:

- Здравствуйте, Лев Иванович.
- Здравствуй, Леонид. Садись.
- Спасибо. Постою. В ногах правда.
- Скверное настроение? – спросил старик.
- Скверное. Хорошее какое слово – «скверное». Почему-то оно уходит из устной речи.
- Век требует более резких определений, да? «Дрянное» – это, по-видимому, точнее?
- В моем положении – да.
- А что случилось?
- Да ничего особенного... Так, глупость...
- У нас сейчас с тобой идет разговор по принципу: язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли, не так ли?
- Вроде бы...
- Жаль. Надо быть всегда искренним. Как Достоевский. По-моему, он самый искренний человек из всех искренних.
- Он был жестоким.
- Есть жестокость и жестокость. Важно, на чем она зиждется.
- Можно ли оправдывать жестокость, Лев Иванович?
- Можно. Восторгаются ведь Желябовым, Перовской и Кибальчицем, которые убили императора Александра Второго, а ведь он, по отзывам некоторых современников, был, я бы сказал, обаятельным человеком. Понимаешь? Жестокость Желябова была жестокостью правды во имя доброты.
- А жестокость по отношению к человеку, совершившему глупость?
- Какую глупость?
- Просто глупость. Обыкновенную глупость.
- Видишь ли, человек, совершающий обыкновенные глупости, либо психически нездоров, либо предельно эгоцентричен. По-видимому, надо очень четко и честно определять людские поступки, и тогда то, что нам кажется глупостью, может на поверку оказаться либо преступлением, либо узкомыслием. Узкомыслие в больших вопросах – также преступно. И в общегосударственных, и в человеческих.
- А если преступление рождено глупостью?
- Оно так же ужасно, как и рожденное умом. Тут разница только в степени жестокости. Кстати, иной раз преступление, продиктованное глупостью, бывает более жестоким, нежели рожденное умом. И то и другое должно быть наказуемо.
- Но преступление не принесло никому никакого вреда.
- Так не бывает. Преступление, даже не совершенное, а задуманное, уже породило преступника.
- Вы учили меня честности в поэзии, Лев Иванович...
- Не может быть честности в чем-то. Это не честность, если она частична. Честность должна быть генеральным качеством человека.
- Лев Иванович...
- Да.
- Знаете, наверное, мир все-таки ужасно устроен.
- Чепуха. Он устроен логично, а потому – прекрасно.
- Логична геометрия, – сказал Ленка, – а что в ней прекрасного?
- Мы же говорим о мире, а не о геометрии...
- Лев Иванович...
- Слушаю тебя...
- Можно, я попью воды?
- Конечно.

Ленька ушел на кухню, и старик услышал, как он пустил воду из крана. Учитель знал, что Ленька всегда подолгу ждет, пока сойдет теплая вода и пойдет студеная, «из земли». Потом он услышал, как Ленька стал пить воду. Он пил ее прямо из-под крана, чмокая губами. Потом стало тихо, и только несколько капель звонко разбились в раковине.

«А ведь это все какая-то дикость, – подумал Лев Иванович, – наваждение...»

Этот не знает

Тюрин – выпускник той школы, где учился Ленька, – сидел дома и чертил хитрый курсовой чертеж. Он услышал протяжный звонок и пошел открывать дверь.

– Кто там?

– С Мосгаза.

Он открыл дверь, впуская Костенко, и сказал:

– Только извините, я в трусах.

– В трусах – не в бюстгальтере, – ответил Костенко, – переживу.

Тюрин засмеялся.

– Веселый Мосгаз, заходите...

– Я тягу проверить, – сказал Костенко.

– Тянет хорошо.

– Порядок есть порядок.

Тюрин притащил лесенку, поставил ее к ногам Костенко и вернулся к своей чертежной доске.

– Вы б поддержали меня, а то загремлю, – попросил Костенко.

– Вы долго будете тягу смотреть?

– Тягу не смотрят, ее чувствовать надо...

– Тяга – она, как говорится, и есть тяга...

Костенко взобрался на лестницу, продолжая ворчать:

– Сейчас в двести сорок девятой был, так лесенку попросил, а хозяйка меня обругала.

– Людмила Аркадьевна?

– А бог ее знает... Фифочка.

– Женщина с характером. Кого угодно доведет.

– Это уж я не знаю, а меня она довела. А сама стоит и плачет.

– Из-за Леньки...

– Это кто? Хахаль?

– Сын.

– Женился?

– Из дому сбежал.

– Куда?

– Я думаю, куда-нибудь в Сибирь подался.

– А почему в Сибирь?

– Я там в экспедиции был, с ума сойти, как здорово, ему кое-что рассказал, так он мне потом говорит: «Сбегу к чертовой матери».

– В той комнате у вас стена капитальная?

– В столовой?

– Да. Там, где дверь закрыта.

– Не знаю. Вы сами посмотрите.

Костенко зашел во вторую комнату, постучал по стене, быстро огляделся, увидел большой стол, маленькую горку для посуды и несколько стульев. Леньки там быть не могло. Он вышел в коридор.

- Придется еще прийти к вам, – сказал Костенко.
- Только пораньше приходите, а то я в институте, мамаша на фабрике, дом пустой.
- Ясно. Мне к этой дамочке снова надо идти, а душу выворотит. Дождусь, пока ее парень вернется.
- Ленька? Он не вернется.
- Неужто мать не жалко?
- Нет, жалко, конечно... Родители как-никак.
- Если он письмо вам черкнет, сказали бы матери-то...
- Думаете?
- Точно. Переживает – лицо как свекла стало. А что вы, друг ему?
- Друг не друг, а товарищ.
- Ну, пока.
- Всего хорошего.
- Так наши еще раз зайдут.
- Хорошо. Только утречком.
- Ясно. До свидания.
- Счастливо.

Леньке плохо

Людмила Аркадьевна стояла в спальне у окна и плакала. Оперативник из отделения сидел около телефона. Телефон молчал. Самсонов полулежал в кресле. Рядом с ним был Росляков.

– Алексей Алексеич, – сказал он, – вы не можете вспомнить, как у вас прошел позавчерашний день?

– Вас интересую я?

– Меня интересует все.

Самсонов отвернулся к окну.

«Позавчера, – вспоминал он. – Что же было позавчера? Днем я был в Министерстве финансов. Потом вернулся в институт. Это было, кажется, часов в пять...»

Он чувствовал усталость во всем теле. Ему было больно пошевелиться. Он слышал, как в приемной секретарша печатала на машинке. Стук клавишей казался ему оглушительным грохотом. Самсонов нажал кнопку вызова секретаря и услышал, как в приемной пронзительно и тревожно зазвенел звонок. Стук клавишей сразу же прекратился, зато громко и быстро затопали каблучки. Он поморщился.

Вошла секретарша и улыбнулась дурацкой киноулыбкой.

«Откуда это у нее? – подумал Самсонов. – Такая славненькая, а улыбается, как звереныш».

– Вы звали меня?

– Да. У вас еще много работы?

– Пять страниц.

– Хорошо. Только, пожалуйста, подложите что-нибудь под машинку. Она ужасно гремит.

...Из своего кабинета Самсонов ушел около десяти, когда все цифры и выкладки, необходимые для завтрашнего совещания по проекту, были им выверены по нескольку раз. Он отпустил шофера и пошел домой пешком. Он шел и чувствовал, как в затылке у него снова нарастала боль; он ощущал, как боль растекалась по всему телу, проникала в позвоночник, в предплечья, в пальцы и в кончики ногтей.

Около самого дома эта проклятая боль, доставшаяся ему в наследство от контузии, стала немислимой. Он остановился и, прислонившись к стене, замер. Потом начал осторожно массировать виски. Какой-то паренек, проходивший мимо, спросил:

- Вам плохо?
- Немножко, – ответил Самсонов сквозь зубы.
- Тут в гастрономе воду продают.
- Спасибо, – сказал Самсонов и пошел в гастроном.

Он выпил стакан нарзана, и в голове у него зазвенело тонко-тонко, будто в тайге весной, когда много мошки. Самсонов очень любил это время в тайге. Он полюбил его с сорокового года, когда проектировал дорогу от Магадана к прииску Стремительному.

Когда он вошел в квартиру, Людмила Аркадьевна сидела посредине столовой в вечернем платье. Глаза у нее были красные и злые.

«Черт, ведь сегодня мы должны были идти в театр, – сразу же вспомнил Самсонов и похолодел. – Сейчас начнется...»

- Людочка, – сказал он тихо, – я совсем замотался, прости меня.

Людмила Аркадьевна молчала.

- Я готовился к завтрашнему совещанию у...

Она перебила его:

- У какой-нибудь очередной бабы?

– Как тебе не совестно!..

– Это ты мне говоришь о совести? Я целыми днями стою у плиты, мне опротивело все это!

- Пойди работать.

– Негодяй!

– Ну вот...

– Ты исковеркал всю мою жизнь, понимаешь? Я готовила тебе еду, гладила рубашки и воспитывала твоего сына! А ты шатался, где хотел! А мне уже сорок!

- Здесь же Ленька...

– Он взрослый мальчик, он все понимает!

Самсонов махнул рукой и начал снимать галстук. Потом он пошел в спальню.

– Как мартовский кот, – продолжала говорить Людмила Аркадьевна, – напакостил – и дал деру!

- Это мы так воспитываем сына?

– Ты еще издеваешься надо мной!

– Миронова и Менакер. Театр миниатюр.

Самсонов захлопнул дверь и лег на тахту. Людмила Аркадьевна распахнула рывком дверь, стала на пороге и сказала:

- Если ты сейчас же не прекратишь своих безобразий, я... я...

– Повесишься, – устало отозвался Самсонов, – знаю, слышал.

– Мальчик, – крикнула Людмила Аркадьевна, – послушай, как глумятся над твоей матерью!

Ленька медленно вышел из самсоновского кабинета. Самсонов заметил, что лицо у парня белое, с синяками под глазами.

- Что с тобой?

– Это ты доводишь его до болезни! – крикнула Людмила Аркадьевна.

– Что с тобой? – повторил Самсонов, поморщившись.

– Ничего, – ответил Ленька, – просто я вас ненавижу...

И – ушел из дому.

Самсонов обернулся к Рослякову и сказал:

- В общем-то, ничего особенного позавчера не произошло.
- Ссоры дома никакой не было?
- А это, пожалуй, наше личное дело.
- Если бы не ограбление приходной кассы.
- Вы проводите связь между этими событиями?
- Я пока, Алексей Алексеевич, ничего не провожу. Я пока спрашиваю...

– Ну дальше? – попросил Лев Иванович.

– А дальше я хотел все рассказать отцу.

– Почему не рассказал?

– Да так...

– Это не ответ. Тебя спросят об этом в участке.

– Где?

– В милиции. Ты должен помочь им абсолютной правдой, понимаешь, Леонид? Абсолютной, если хочешь – геометрической правдой.

– Ну, в общем, им было не до меня.

– Кому?

– Отцу. Матери.

– Какая-нибудь семейная неурядица?

– Да.

– Пустяк. В семье могут быть трения, но тебя это никоим образом не касается.

– Если восемь лет одно и то же – касается, Лев Иванович. Я и стихи от тоски писать начал.

– Это, Леонид, неправда. Стихи от тоски не пишутся. А если и пишутся, то выходят они наиотвратительнейшими.

– «Я помню чудное мгновенье...» не с радости написано.

– Верно. Оно – от грусти. Но тоска – нечто совершенно грусти противоположное. Тоской в прошлые годы институтки страдали. Но об этом после. Ты знаешь, куда надо ехать?

– Да.

– По-видимому, тебе хотелось бы, чтобы мы поехали вместе?

– Что вы, Лев Иванович...

– Ну, полно.

– Лев Иванович, можно мне вас попросить?

– Пожалуйста.

Ленька достал из кармана плоский «вальтер» и положил его на стол.

– Что это?

– Пистолет моего отца. Если я его привезу туда с собой, я подведу отца. Понимаете?

Лев Иванович пожевал бороду, откашлялся и спросил:

– Ты стрелял из него?

– Нет.

– Нельзя говорить половину правды, Леонид. Тогда лучше не говорить вовсе.

– Я же подведу человека.

– Ты уже его подвел. Поехали. Забери эту вещь в карман, я не смогу выполнить твоей просьбы, как мне это ни больно...

– Вы меня учили добру, Лев Иванович. А какое же будет добро, если я подведу отца – ни в чем не виноватого человека?

– Я не хочу сейчас казаться моралистом, Леонид. Только я очень верю: ты должен отнести им этот револьвер.

Ленька усмехнулся и сказал:

– Знаете, не надо вам ехать со мной.

– Отчего так?

– Я не хочу, Лев Иванович. Вы даже можете к ним позвонить и вызвать их сюда, а пока запереть дверь на ключ. Телефон – ноль два, добавочный – дежурного. Все очень просто.

– В тебе сейчас говорит нечто незнакомое мне.

– Во мне сейчас ничто не говорит, Лев Иванович. Сейчас во мне все визжит и трясется, потому что я иду в тюрьму. Иду в тюрьму за глупость, понимаете, Лев Иванович? Иду в тюрьму, где сидят жулики и убийцы, насильники и растратчики! А я иду туда с вашими наставлениями о добре и со своими стихами, понимаете вы?!

– Успокойся...

– Успокаиваются, когда есть что успокаивать! А у меня нечего успокаивать! Я обманывал и себя и вас, когда только что говорил о стихах, и о «чудном мгновенье», и добре, и зле! Я слышу сейчас только одно слово: тюрьма! тюрьма! И больше ничего! Я пустой совсем! Нет меня! Нет! Нет! Нет!

– Леонид, я прошу тебя выслушать то, что я скажу. У меня было два сына: комбриг Страхов и полковник Страхов. Они погибли в тридцать седьмом году вместе с Тухачевским. Я тоже тогда думал, что мир кончился, что я пустой, что меня больше нет, что я никогда и никому больше не смогу принести добра или сделать зло. Но ведь я жив. Но ведь я уже двадцать пять лет после этого читаю вам Пушкина и Достоевского!

– Это к тому, что человек живуч! Так, Лев Иванович?

– Уходи, – сказал старик. – Мне неприятен разговор с тобой.

– Прогнать всегда легко. И вы же остаетесь победителем. И еще: ваши сыновья были героями, а я, в шестьдесят втором, – негодяй и дурак. Не надо проводить таких сравнений, они оскорбляют память ваших детей. До свиданья, Лев Иванович.

Ленька поднялся и пошел к двери. Открыв ее, он оглянулся и увидел старика – сутулого, в заплатанной парусиновой толстовке, среди книг и карандашных рисунков, рядом с поломанной тахтой, укрытой порыжелым одеялом, прожженным в нескольких местах папиросами.

У Леньки затряслись губы... Он вдруг вспомнил те долгие вечера, когда старик сидел с ним и читал ему стихи, когда он, радуясь, жарил яичницу с луком и пел греческие песни; когда он помогал ему решать проклятые геометрические задачи; когда он спасал его перед директором за все те штуки, которые Ленька проделывал. Он вспомнил, как старик приглашал его в театры и ужасно конфузился из-за того, что у него были рваные ботинки, и поэтому не вставал с кресла и не выходил в фойе. Все это вспомнил Ленька, и лицо его тряслось все больше и больше, а старик стоял молча и не смотрел на него, а только быстро моргал глазами и все время поводил головой, как лошадь, которой трет хомут.

Ленька бросился к старику, прижался к нему и стал повторять:

– Не сердитесь. Лев Иванович, не сердитесь, пожалуйста, не сердитесь, Лев Иванович, не сердитесь только, миленький...

Старик погладил его по голове и тихо сказал:

– Поехали, Ленечка. Я на тебя не сержусь.

Алиби – Хлебников

«После того как меня отпустили из милиции, куда я был отправлен завучем из-за бульдога, я пошел в школу, но там завуч сказала мне, что я из школы исключен и к экзаменам на аттестат зрелости допущен не буду. Это было как гром среди ясного неба. Я вышел из школы и долго думал: что же сейчас надо делать? Сначала я подумал, что надо пойти к отцу и все ему рассказать, но потом я вспомнил, что он последний месяц был занят очень сложной работой, и решил, что этот сюрприз ему не очень-то поможет. Льва Ивановича Страхова, с которым я

хотел посоветоваться, в школе не было, дома – тоже. Тогда я пошел по улице. Я шел и думал, что же предпринять. Настроение у меня было отвратительное. Около гастронома № 17 я остановился, потому что вспомнил, что у меня в классе осталась книга Фадеева „Молодая гвардия“ и в ней расчетная книжка за коммунальные услуги. Утром мне мать дала денег и попросила после школы уплатить за квартиру. Я вернулся в школу и попросил нянечку, тетю Катю, вынести мне книгу. Она мне книгу вынесла. Я спросил ее, где бульдог. Она ответила, что за ним пришел хозяин. Хоть здесь-то обошлось, подумал я, потому что бездомный пес в городе – это очень тяжелое зрелище. Я бульдога нашел на улице, он бегал и скулил. Он еще щенок, и я решил, что его нельзя оставлять на улице. Поэтому я его привел с собой в класс. Без всяких хулиганских целей. Я думал, что он будет спокойно сидеть.

Потом я снова ходил по улицам, не зная, что предпринять, и около того же гастронома я встретил двух молодых людей, которые предложили мне присоединиться к ним на пол-литра. У меня были деньги на квартплату, и я решил вместе с ними выпить, потому что настроение было отвратительное и положение – безвыходное. Мы выпили бутылку водки без закуски. Потом я купил еще одну бутылку, мы и ее выпили; я очень опьянел и стал читать моим знакомым стихи. Имен я их не знаю. Тот, что был повыше, в кожаной куртке, называл своего приятеля обезьяньим именем Чита. Чита – невысокого роста, в сером костюме, русоволосый, а глаза у него очень большие и темные, почти без зрачков. Что было потом, я плохо помню. Кажется, мы еще раз пили водку. Помню, когда я декламировал Есенина: „Я читаю стихи проституткам и с бандитами жарю спирт“, они стали обнимать меня и целовать. Это я запомнил очень ясно, потому что я всегда запоминаю, как и кто реагирует на стихи. Потом еще, я припоминаю, они пели песню. Если возникнет надобность, я ее, наверно, смогу припомнить и написать в дополнение к протоколу допроса. Отрезвел я, когда они закрыли дверь кассы и длинный, в кожаной куртке, выгавив наган, сказал: „Руки вверх! Ни с места!“ Тут я сразу же отрезвел и очень испугался. Я попятился к двери, но тогда Чита достал финку и сказал мне: „Иди к окну“. Я отошел к окну. У меня затряслись руки от страха, и я положил книгу Фадеева на стол; по-видимому, тогда из книги выпала расчетная книжка за коммунальные услуги. Когда я отходил к окну, кто-то из работников кассы сказал: „Вы с ума сошли! Это же грабеж!“ Длинный что-то крикнул, но в это время зазвенел звонок. Длинный выстрелил и побежал к двери, следом за ним кинулся Чита. Потом убежал я. Куда я бежал – не помню. Знаю только, что долго стоял в каком-то парадном и меня сильно тошнило. Я очень долго стоял в парадном, дожидаясь темноты. Там, помню, был автомат, и я, чтобы не вызвать подозрений, почти все время держал трубку около уха, когда слышал шаги на лестничной клетке. Да, еще помню, что, когда мы подходили к кассе, длинный сказал: „Витька-гад оставил нас без колес“. Кто такой Витька и что значит „колеса“, не знаю, и разговора об этом больше не было.

Вернувшись домой, я вымылся в ванной и стал дожидаться отца. Но он пришел поздно, и в силу некоторых домашних причин я ему рассказывать ничего не стал, чтобы еще больше не нервировать. Зачем я похитил его пистолет, объяснять сейчас не буду, потому что если бы даже и объяснил, то вы, естественно, вправе мне не поверить. Вот и все, что я могу сказать. Написано мною собственноручно. Леонид Самсонов».

Садчиков, прилетевший из отпуска, прочитав показания Ленки, написал на листке бумаги: «Пусть Валя пройдет по кличке Чита. Свяжется с отделениями. Кличка заметная, участковые должны знать».

– По всем отделениям? – негромко спросил Костенко.

– А что д-делать? Надо по всем.

– Хорошо. Я схожу позвоню к дежурным.

– П-правильно. Пусть они тоже в-вспомнят. С-сдается мне, что этот Чита проходил через дежурную часть по какому-то х-хулиганству.

- Я посмотрю.
- Чита – это уже зацепка. О-очень хорошая з-зацепка, поверь мне.
- Я верю.
- Н-ну извини, – усмехнулся Садчиков.
- Да нет, пожалуйста, – ответил Костенко и подмигнул Ленке.
- Это п-присказка у нас такая, – объяснил Ленке Садчиков. – Ш-шутим мы, понимаешь? Из научно-технического отдела принесли «вальтер» Самсонова.
- Из этого пистолета не стреляли, – сказал эксперт. – Пробный выстрел дал отрицательный ответ: в касе стреляли из другого пистолета.
- Благодарю вас, – сказал Садчиков.
- Он перечитал показания Ленки еще раз, отложил их в сторону и спросил:
- Ты сегодня ж-жевал что-нибудь?
- Мне не хочется.
- А я пом-мираю от голода. Слава, – попросил он Костенко, – может, ты сходишь в гастроном?
- Что купить?
- Возьми к-колбаски и плавленых с-сырков.
- У меня от них скоро судороги начнутся, – сказал Костенко. – Была бы плитка – пельменей сварили.
- Спроси Льва Ивановича, – сказал Садчиков, – старикан тоже, наверное, г-голоден. Кстати, где Росляков?
- Я его отпустил до двенадцати.
- Ну х-хорошо. Иди за сыром.
- Иду.
- Послушай-ка, Леня, – сказал Садчиков, поднявшись из-за стола, – давай вместе с тобой в-вспоминать все то, что говорили те д-двое. По отдельным словам, по выражениям. Ты же поэт, нап-прягись. Кстати, ты рассказы Чапека любишь?
- Очень.
- Помнишь, «О шея лебеда, о грудь, о барабан!»? Это когда поэт помог сыщикам установить номер машины по своим хитрым ассоциациям... Помнишь эт-тот рас-сказ?
- Помню. А вы что, Чапека читали?
- Нельзя?
- Нет, можно, конечно, только я думал...
- Ясно. М-можешь не договаривать. Ты, кстати, куришь?
- Нет.
- Правильно делаешь. Я б-бросил – разжирел, снова пришлось начать.
- Скажите, а меня надолго посадят?
- Сложный в-вопрос. Я пока тебе ничего на него не отвечу и ничего не буду обещать. А в-вот ответь мне, пожалуйста, что ты делал восьмого мая?
- Восьмого? Это какой день?
- Суббота.
- Учился. Потом мы уехали на дачу.
- Когда кончились уроки?
- У нас в субботу пять уроков. Значит, около часа. А потом мы еще с Львом Ивановичем ходили в букинистический. За томиком Хлебникова.
- Это что, зиф-фовское из-здание?
- Да.
- А что ты делал двенадцатого мая? Около шести.
- Не помню.

– Надо вспомнить.

– Вы думаете, я не все вам сказал? Почему вы спрашиваете меня про эти дни?

Садчиков подошел к Леньке, остановился прямо перед ним и, раскачиваясь с носка на пятку, сказал:

– Я спрашиваю т-тебя потому, что именно в эти дни бандиты с-совершали грабежи. Я бы не спрашивал т-тебя об этом, если бы сейчас был день. Просто мы бы вызвали сюда тех людей, которые видели грабителей, и предложили им о-опознать тебя. Понимаешь, какие пироги? Так что тебе ф-финтить нет резону; если что было, давай все в открытую...

– Какой смысл мне тогда было самому приходиться к вам? Я ведь сам пришел к вам... Никто меня не тащил... Какой смысл?

– Никакого, – согласился Садчиков. – Пожалуй, н-никакого... Ладно... Посиди, сосредоточься, постарайся вспомнить детали...

Костенко вернулся с покупками.

– Духотища, – сказал он, – не иначе как к грозе.

– Сейчас я вернусь, – сказал Садчиков, – а вы п-пока закусывайте.

Костенко развернул пакет, разложил на столе сыр и колбасу, налил в стакан воды и подвинул Леньке.

– Поешь, – предложил он, – а то, наверное, кишка на кишку протокол пишет.

– Уже написан. Только не на кишку.

Костенко хмыкнул.

– А ты нос не вешаешь. Молодец. Где ночевал эти два дня?

– На вокзале.

– На каком?

– Сначала на Казанском, а потом на Ярославском.

– Что, в Сибирь хотел отправиться?

– Откуда вы знаете?

– Мы, дорогой, все знаем. Работа такая.

Вернулся Садчиков и спросил Леньку:

– Слушай, а вы Хлебникова к-купили?

– Купили.

– А еще что купили?

– Еще? Подождите, что-то мы еще купили... А, вспомнил, Бабеля! «Конармию». И, по моему, «Максимы» Ларошфуко.

– Ну, слава богу, эт-то вроде сходится.

– Что, с первого дела отпадает? – поинтересовался Костенко.

– Вроде да, – ответил Садчиков. – Ты, Леня, не стесняйся, налетай на пищу. Сырки ешь – они м-мягкие... Что-нибудь про т-тех вспомнил?

– Вспомнил. Чита говорил: «Сейчас бы блинчиков в „Астории“ пожрать». Это когда у нас закуски не было.

– Пожрать – значит п-поесть?

– Да. Но это ведь не я. Вы просили вспомнить детали... Это Чита так говорил...

– Великий и могучий, – вздохнул Костенко, – благозвучный и прекрасный русский язык! Мордуют беднягу со всех сторон. Да здравствует Солоухин, хоть и достается бедняге...

– А зачем же ты все-таки утащил у отца пистолет?

Ленька взял кусок колбасы и начал быстро жевать. Он съел кусок, запил его водой и ответил:

– Стреляться хотел. А как дуло в рот вставил, так со страху чуть не умер. Даже вынимать потом боялся; думал, не выстрелил бы.

Костенко и Садчиков засмеялись. Ленька тоже хмуро усмехнулся, а потом сказал:

- Это сейчас смешно... Вы меня что, сразу в камеру посадите?
- А как ты думаешь?
- Не знаю...
- А все-таки?
- Наверное, придется.
- В том-то и дело. Сулить мы нич-чего не можем, но, если т-ты сказал всю правду, не исключено, что тебя до суда отпустят.
- Домой?
- Не в Сибирь же, – ответил Костенко.
- В дверь постучались.
- Да!
- Вошел Лев Иванович.
- Прошу меня извинить... Но уже довольно-таки поздно... Мальчику надо завтра рано вставать... Вы разрешите нам уехать?
- Вам – да.
- А ему? Он ребенок. И потом, это нелепость, поверьте мне.
- Лев Иванович, – сказал Костенко, – а что случится, если вы сейчас вместе с ним или он завтра один встретите на улице тех двух? Убийц и грабителей? Он ведь свидетель, его убирать надо. Понимаете?
- Но почему вы думаете...
- Чтобы потом его папа с мамой не плакали, только для этого именно так я и думаю.
- Лев Иванович, – сказал Ленька, – спасибо вам. Вы не беспокойтесь. Вы поезжайте спать, а то уже поздно...
- Завтра мы вам позвоним, – пообещал Костенко.
- Днем... Ч-часа в два...
- Это же непедagogично... Сажать в тюрьму мальчика...
- Садчиков нахмурился.
- Знаете, о п-педагогике лучше все же н-не надо. Момент не тот.

- ... Через час приехал Самсонов.
- Где мой сын? – спросил он по телефону из бюро пропусков. – Я прошу свидания с ним. Ленька спал на диване, укрытый плащом Садчикова. Костенко тихо сказал в трубку:
- Он спит.
- Я прошу свидания! Поймите меня, товарищи! Вы должны понять отца! Хоть на десять минут... Хоть на пять! У вас ведь тоже есть дети!
- Тише, вы! – попросил Костенко. – Не кричите. Нельзя сейчас парня будить, он и так еле живой. Завтра. Приезжайте утром. Часам к десяти кое-что прояснится...
- И положил трубку. Посмотрел на Садчикова. Тот отрицательно покачал головой.
- Думаешь, нет? – спросил Костенко.
- Думаю, нет. Он больше н-ничего не знает. Или мы с тобой старые остолопы.
- Тоже, кстати, возможный вариант. Ну что ж, давай писать план на завтра?
- Давай.
- Черт, нет плитки!
- Пельменей тоже нет.
- Я о чае.
- Г-гурман...
- А что делать?
- Ну извини, – пошутил Садчиков.
- Да нет, пожалуйста, – в тон ему ответил Костенко.

Вторые сутки

Вышли на Читу

Утром в кабинете у комиссара сидели четыре человека: Самсонов, Лев Иванович, Садчиков и – возле окна – Ленька. Он неторопливо и глухо рассказывал комиссару все по порядку, как было записано им вчера, начиная с бульдога...

...У каждого человека бывают такие часы, когда нечто, заложенное в первооснове характера, напрочь ломается и уходит. Именно в те часы рождается новый человек. Обличье остается прежним, а человек уже не тот. Комиссар вычитал, что Гегель где-то утверждал, будто форма – это уже содержание. Сначала ему это понравилось. Он даже не мог себе толком объяснить, почему это ему так понравилось. Он, вообще-то, любил красивое. Он очень любил красивых людей, красивую одежду, красивые зажигалки. Однажды он отчитал одного из опытейших стариков-сыщиков, когда тот, сердито кивая на молодых оперативников, одетых по последней моде, сказал: «Выглянешь в коридор – и не знаешь, то ли фарцовщик на допрос идет, то ли оперативник из новеньких...» Комиссар тогда очень рассердился: «Хотите, чтобы все в черном и под одну гребенку? Все чтоб одинаково и привычно? Времена иные пришли. И слава богу, между прочим. Красоту надо в людях ценить, для меня, душа моя, нет ничего великолепнее красоты в человецех». Любил комиссар и красиво высказанную мысль. Наверное, поэтому ему сразу очень понравились гегелевские слова. Но потом в силу тридцатилетней укоренившейся привычки к каждому явлению возвращаться дважды и, перепроверив, еще раз проверить он вечером, по обыкновению, долго стоял у окна и курил. Он вспоминал старого вора Голубева. Опытнейший карманник вернулся из заключения и заболел воспалением легких. Он не думал бросать свое ремесло. Он лежал и злился, потому что поднялась температура и надо было покупать пенициллин, после войны он был очень дорогим, а денег не было. Тогда старуха-мать продала свою шубейку и поехала к знакомым, которые достали драгоценное лекарство. В троллейбусе у нее срезали сумочку. Старуха вернулась домой вся в слезах, а продавать было уже нечего, и Голубев тогда еле выкарабкался. Выздоровев, он пришел в управление, к комиссару, и сказал:

– Берите меня к себе, я их теперь, подлюг, терпеть ненавижу до смерти.

– Грамматика у тебя страдает, – сказал комиссар. – Некрасиво говоришь, Голубев, как дефективный ты говоришь – «терпеть ненавижу»... Учиться тебе надо... А что на своего брата взъелся?

– Есть причина, – сказал Голубев. – Их душить надо. Псы, нелюди, паразиты, стариков обижают, я их маму в упор видал.

Комиссар помнил его таким, каким он был три года назад, перед арестом. Те же наколки, то же квадратное лицо, те же губы, разбитые в драках, те же оловянные «фиксы» и та же челочка. Все вроде бы то же, а человек перед комиссаром сидел уже другой. Тогда комиссар улыбнулся и подумал: «Форма – уже содержание? Дудки, милый Гегель. Загнул ты здесь, дорогой».

Вот так и сейчас, глядя на Леньку, он внутренним своим чутьем понимал, что парень изменился, что в нем сломалось нечто, определявшее его раньше. Комиссар это видел и по тому, как на Леньку смотрел его отец, и по тому, как прислушивался к его голосу Лев Иванович, и еще по тому, как Садчиков переглядывался с парнем, когда тот замолкал.

– Ну, – сказал комиссар, – это все хорошо. Но ты объясни мне, как же мог с ними пойти на грабеж? Растолкуй – не понимаю...

– Я этого растолковать не смогу, товарищ комиссар. Я сам не понимаю...

– Потому что был пьяный?

– Да.

– А я и не прошу, чтоб ты в себе – в пьяном – копался. Ты мне по трезвому делу объясни. Вот сейчас как ты это объяснить можешь? Постарайся на все это дело посмотреть со стороны.

– Бывают провалы памяти...

– Ты думаешь, у тебя был провал?

– Да.

– Плохо дело, если провал. Так вообще загреметь недолго, если оступишься... Громко можно загреметь, мил душа, надолго.

– Так я уже...

– Уже ты дурак, – сказал комиссар. – Если, конечно, не врешь нам. А когда оступаются, становятся преступниками. Тут разница есть, серьезнейшая, между прочим, разница.

В дверь постучались. Лев Иванович вздрогнул. «Волнуется старик, – отметил комиссар, – на Дон Кихота похож. Такой же красивый... Пронзительную какую-то жалость к таким чистым людям испытываешь... Именно – пронзительную».

– Разрешите, товарищ комиссар? – заглянув в кабинет, спросил Росляков.

– Прошу.

Росляков подошел к столу и, положив перед комиссаром небольшую картонную папку, раскрыл ее торжественным жестом фокусника.

– Садитесь, – сказал комиссар и начал рассматривать содержимое картонной папки. Он что-то медленно читал, раскладывая перед собой фотокарточки, словно большой королевский пасьянс, разглядывал, чуть отставив от себя – как все люди, страдающие дальновзоркостью, – дактилоскопические таблицы, а потом, отложив все в сторону, попросил: – Ну-ка, Лень, ты мне Читу опиши. Только с чувством, как в стихах.

– Я б его в стихах описывать не стал.

– «Социальный заказ» – такой термин знаешь? Проходили в школе?

– Проходили, – улыбнулся Ленька. – Черный, лицо подвижное, рот толстогубый, мокрый, очень неприятный, как будто накрашенный. На лбу, около виска, шрам. Большой шрам...

– Продольный?

– Да.

Комиссар снова начал разглядывать содержимое папки, сортировать документы, разглядывать таблицы через лупу, а потом взял со стола карточку, поднял ее и показал Леньке:

– Этот?

– Этот, – сказал Ленька и поднялся со стула, – это Чита, товарищ комиссар.

Через час две «Волги» остановились в Брюсовском переулке. Из машины вышли пять человек. Двое остались у ворот, а Садчиков, Костенко и Росляков вошли в большой гулкой двор. Садчиков шел по левой стороне двора и насвистывал песенку. Росляков со скучающим видом, вразвалочку шел посередине. Он шел, не глядя по сторонам, и гнал перед собой пустую консервную банку. Она звенела и гроыхала, потому что двор был тесный, стиснутый со всех сторон кирпичными стенами домов.

Костенко шел по правой стороне, хмурый и злой. Утром он снова был на приеме в исполкоме по своим квартирным делам. Костенко жил в покосившемся деревянном домике на Филях, в девятиметровой комнате. Маша с Аришкой жили то у бабушки на Кропоткинской, то уезжали в деревню на все лето, пока у Маши были каникулы. Но она в следующем году должна была кончить университет, и тогда уезжать на три месяца будет нельзя.

Заместитель председателя исполкома знал Костенко – он ходил к нему уже второй год, и поэтому сегодня утром принял его особенно приветливо, усадил в кресло и угостил папиросами «Герцеговина Флор».

– Знаю, знаю, – сказал он, – в ближайшее время поможем. Вы поймите положение, товарищ... Трудное у нас положение, очередь-то громадная...

– Я – первоочередник, а уже два года все это тянется. То одних вместо меня пускают, то других... Непорядок получается... Всякому терпению приходит конец – рано или поздно...

– Вы работник органов, товарищ Костенко, сознательности у вас побольше, чем у других. Так что не надо бы вам о терпении...

– У меня ведь дочке три годика, товарищ дорогой... Когда все-таки квартиру дадите?

– Зимой, – сказал зампред и что-то пометил у себя на календаре толстым красным карандашом, – обязательно зимой.

– Так ведь и в прошлом году вы обещали дать зимой...

– Я помню, – поморщился заместитель председателя и сухо закончил: – Можете, в конце концов, написать на меня жалобу.

Поэтому Костенко шел хмурый и злой. Он думал о том, куда девать Машу и Аришку осенью; он думал о том, что снова придется жить у тещи или ворочаться с боку на бок в своей одинокой комнате, а утром, перед работой, заскакивать на пять минут туда, на Кропоткинскую, целовать в щеку жену, класть на кровать Аришке конфету и уходить на весь день, до следующего утра.

– Мамаша, – спросил Садчиков лифтершу, – а у вас к-кабина вниз ходит?

– Еще чего! – ответила лифтерша. – Жильцы тогда в ней пианины будут спускать. Только вверх, а отсюда – одиннадцатым номером. Лестница покатая у нас, хорошая лестница, не грех и спуститься пешком...

– Костик не уходил сегодня?

– Из восьмой квартиры? Так он тут не живет уж месяц.

– У Маруськи, наверное? – спросил Росляков, быстро назвав первое пришедшее на ум женское имя.

– У него этих Марусек тыща. Поди узнай, у какой он дремлет.

– Уж и д-дремлет, – сказал Садчиков и открыл дверь лифта. – А ты, Валя, пешочком, по лестнице, она у них покатая...

Они остановились около восьмой квартиры. Негромко постучали в дверь. Никто не отозвался. Садчиков постучал громче. Где-то в соседней квартире было включено радио. Передавали концерт эстрадной музыки, и Садчиков заметил, как у подошедшего Вали Рослякова нога сама по себе стала выбивать такт.

– Иди в д-домоуправление, – шепнул Садчиков Костенко, – пусть шлют понятых и слесаря – взламывать б-будем.

Обыск в квартире, где жил Константин Назаренко, 1935 года рождения, холостой, без определенных занятий, судимый в 1959 году за хулиганство и взятый на поруки коллективом производственных мастерских ГУМа, где он работал в то время экспедитором, ничего не дал. Однокомнатная квартира была почти пуста, только вдоль стен стояли бутылки из-под коньяка и водки и пустые консервные банки, в основном рыбные.

Росляков начал списывать номера телефонов, нацарапанных на стене.

– Между прочим, одни женские имена.

– Это по твоей линии, – сказал Костенко. – В женских именах ты дока.

– Осторожнее на поворотах, учитель, – предупредил Росляков, – я стал обидчивым, работая под твоим началом.

– Ну извини...

– Да нет, пожалуйста.

Они осмотрели всю квартиру – метр за метром, шкаф, стол, кровать, каждую щель, каждый кусочек плитуса, каждую паркетину. Ничего из вещественных доказательств найдено не было.

Садчиков внимательно просмотрел телефоны, записанные на стене, и сказал:

– Попробуем, м-может, по ним выйдем на Назаренко, а?

– Поручи это Вальке, – предложил Костенко. – Подруги бандита заинтересуются молодым сыщиком.

К вечеру выяснилось, что телефоны женщин, записанные на стене карандашом, принадлежали подругам Читиной сестры Ксении, три месяца назад выехавшей к мужу в Иркутское геологическое управление. Заниматься ими для дальнейшей проверки было поручено группе Дронова, а Садчиков, Костенко и Росляков начали «отрабатывать» связи Читы по Институту цветных металлов и золота, где он учился шесть лет назад, до того как был отчислен за академическую неуспеваемость с третьего курса. На курсе учились сто шестнадцать человек. В той группе, где Чита специализировался по разведке серебряных месторождений, занимались восемь человек. Пятеро, получив распределение, разъехались по стране – в Сибирь, Киргизию и на Чукотку.

В Москве остались трое: Никодим Васильевич Гипатов, Владимир Маркович Шрезель и Виктор Викторович Кодицкий.

Гипатов

Он сидел дома в голубой, заглаженной пижаме, босиком и писал последнюю главу своей кандидатской диссертации. В комнате было тихо и прохладно. Только жужжал вентилятор, поворачивая пропеллерообразную морду то направо, то налево.

– Я из уголовного розыска, – сказал Росляков, – вот мои документы.

– Милости прошу...

– У вас в группе учился Назаренко? Константин?

– Назаренко?

– Да. Назаренко...

– Учился... Как же, как же...

– Вы его помните?

– «Кто не знает собаку Гирса?» – так, кажется, у Лавренева? Конечно помню. Подонок.

– Это известно. Меня интересуют детали. Его друзья, привычки, его манера обращаться с людьми, его увлечения, страсти, странности...

– Из меня плохой доктор Ватсон.

– Да я и не Шерлок Холмс. Постарайтесь вспомнить о нем что можете. Это очень важно. Он преступник, скрывается. И вооружен. Нам сейчас каждая мелочь важна.

– Столько лет прошло... Трудно, как говорится, вспоминать.

– А вы через себя. Попробуйте вспомнить себя шесть лет назад. Друзей вспомните... Врагов... По Станиславскому: вызовите цепь ассоциаций.

Гипатов прищурился, взял со стула ручку и принялся писать на чистом листке бумаги только одно слово: «дурак, дурак, дурак» – строчку за строчкой через запятые, очень ровно и аккуратно. Он силился вспомнить Назаренко, но, как ни старался, ничего у него из этого не получалось, потому что вспоминалась ему первая практика – в горах, на строительстве рудника, куда Назаренко не поехал, достав справку о временной нетрудоспособности в связи с гипотонией. Это Гипатов помнил точно; они еще все смеялись на курсе: живой гипотоник ходил по институту и жаловался на головные боли, а от него за версту несло водкой и духами. «Духи-то, кажется, были „Кармен“, – вспомнил Гипатов. – Почему-то все пьяницы любят женские духи». Потом он вспомнил зеленый костюм Назаренко – тот всегда носил яркие костюмы и очень пестрые рубашки.

– Как говорится, ни черта не вызвал я ассоциациями, – вздохнул Гипатов, – кроме пустой лирики. Если бы он злодеем уже тогда был или, наоборот, добрым гением – другое дело. Запо-

минают заметных. А он был вроде амебы – полностью лишен какой бы то ни было индивидуальности...

– Плохо дело...

– А черт с ним, найдется, я думаю, а?

– Должен, конечно.

– Когда схватите – от меня привет. Он меня помнит, я ему рожу единожды бил. Товарищ был отменно трусоват.

– Чего же он боялся?

– Силы... Да, вспомнил. Он, если за девушкой ухаживал, любил с ней вечером мимо ресторанов ходить. Оттуда какой пьяный завалится – ну, такой, что на ногах не стоит, – он ему с ходу по морде. Девушки любят, когда с ними ходит сильный парень, в сильных быстрой влюбляются, да и боятся их... А Назаренко больше и не надо было. Я же говорю, подонок...

Шрезель

Он говорил страстно, с надрывом, но иногда замолкал и тяжело смотрел в одну точку, прямо перед собой, куда-то мимо Костенко. Руки у него были маленькие, толстые, удивительно женственные, только с обгрызенными ногтями. Он беспрерывно курил, но не гасил окурки в пепельнице, и они дымились, как благовония в храме.

– Понимаете, – вдруг снова взорвался Шрезель, – так мне трудно вспоминать! Предложите какой-нибудь вопрос, тогда у меня пойдет ниточка. Я люблю наводящие вопросы. Вы помогите мне вопросами, тогда я смогу понять, что вас интересует. Как человек серый, я самостоятельно мыслить не умею, только по подсказке. – Он усмехнулся и повторил: – Только по подсказке... Но я просто не могу себе представить его в роли грабителя.

– Почему?

– Ну, теория квадратного подбородка, дегенеративного черепа и низкого лба, я это имею в виду. Ламброзо и его школа. Назаренко был красивым парнем, с умным лицом... И глаза у него хорошие...

– Тут возможны накладки. Ламброзо у нас не в ходу.

– Напрасно. По-моему, его теория очень любопытна. На Западе он в моде.

Костенко был по-прежнему зол – он трудно отходил после посещения исполкома. Поэтому он сказал:

– В таком случае я вынужден вас арестовать прямо сейчас. Как говорится, превентивно...

Шрезель засмеялся.

– За что?

– За Ламброзо. Он, знаете, как определяет грабителя-рецидивиста?

– Не помню.

– Могу напомнить, только не обижайтесь. Растительность, поднимающаяся по щекам вплотную к глазам, выступающая вперед нижняя челюсть, толстые пальцы, крючковатый нос, обгрызенные ногти. Возьмите зеркало, внимательно смотрите на свое лицо, а я повторю ваш «словесный портрет» еще раз.

– Неужели я такая образина? – спросил Шрезель, но к зеркалу, стоявшему на низком столике около приемника, невольно обернулся. Он внимательно оглядел себя и переспросил: – Разве у меня нижняя челюсть выступает?

– Должен вас огорчить...

– О, погодите, у него внизу, вот здесь, – Шрезель открыл рот и показал два передних зуба, – были золотые коронки! Ура! Пошла ниточка! Вы мне помогли... Я могу фантазировать, если мне помогают! Еще вспомнил: он очень любил, как он определял, «вертеть динамо». Брал такси, катался по городу, потом останавливался у проходного двора, говорил, что выходит на

минуточку, и убежал. То же он проделывал в ресторанах, он очень любил рестораны, он еще меня научил заказывать свекольник и рыбу по-монастырски.

– Что, вместе с ним убежали?

– Да что вы... Неужели я похож на тех, кто «вертит динамо»?

– А откуда вам известно про его штуки?

– Говорили в институте...

– Чего ж вы ему тогда холку не намылили?

– Не пойман – не вор.

– Тоже верно.

– Да, вот еще что... У него была прекрасная память. Изумительная память. У него даже записной книжки не было. Один раз услышит телефон – и навечно.

– А почему тогда его выгнали из института?

– Так он же не ходил на лекции. Знаете, может быть, он так хорошо запоминал только телефоны. Иногда бывает: прекрасная память на все, кроме, например, формул. Это от лености ума. Ум ведь надо все время тренировать, иначе его можно погубить. Это, кстати, и ко мне относится: я часто впадаю в какую-то духовную спячку – ничего не интересует, все мимо, мимо... Хочется сидеть, а еще лучше – лежать и не двигаться... У вас так не бывает? Да, кстати, у него был какой-то друг, по специальности физкультурный тренер. Кажется, бегун. Кажется. Точно я боюсь вам сказать.

– А из какого общества?

– Я был далек от спорта.

– Как звали тренера, не помните?

– Нет, что вы... Я только помню, что он его часто ждал после занятий. Такой высокий худой парень. И еще, кстати, он очень боялся темноты. Да, да, я именно поэтому и удивился, что он стал грабителем...

– Они днем грабили, – сказал Костенко, – сволочи.

– У вас, наверное, очень интересная работа, простите, не знаю, как вас величать...

– Владислав Николаевич.

– Очень красивое созвучие имени и отчества. Я своего сына назвал Иваном. Иван Шрезель.

Костенко улыбнулся:

– Благозвучно. Ему бы на сцену с таким именем.

Шрезель замолчал и снова начал тяжело смотреть в точку, прямо перед собой, куда-то мимо Костенко.

– Очень мне с ним трудно, – вздохнул он, – жена погибла прошлым летом. Я чудом уцелел, а Ляля погибла во время маршрута по Вилюю. В детский садик я его пристроил, но воспитательница – не мать. Да, погодите, снова ниточка: у него была мать!

– Она умерла.

– Знаете, просто чудесная была женщина. Тихая такая, добрая... Прекрасно готовила. Она умела делать гречневую кашу в духовке – крупинка от крупинки отдельно лежала. Я сам немножечко гастроном. Люблю на досуге покашеварить. Наверное, истинное призвание – это кухня... Я только на кухне, у плиты, по-настоящему воодушевляюсь, только там я смел в решениях, только когда варю борщок – я чувствую себя личностью... Мы на этой почве очень подружились с его матушкой...

– Вы у них часто бывали?

– Довольно часто. Меня прикрепили к нему помогать учиться. Комсомольская нагрузка. По-моему, это все чепуха. Помогать учиться – это почти то же, что помогать человеку дышать или ходить. Здоровому, конечно. Больному не зазорно.

– Смекалистый был парень?

– Да. Очень. Но я же говорил вам – леньность ума. Отсутствие тренинга. И еще: очень любил и, главное, умел со вкусом одеваться. Это он привил мне любовь к одежде. Он мне даже галстук-бабочку подарил.

– А деньги откуда?

– На галстук-бабочку?

– Нет. На красивую одежду?

– Во-первых, мать. Она была хорошая портниха и помногу зарабатывала. А вообще, очень был элегантный парень. Такой, знаете ли, красавец. Шрамик у него на лбу есть. Витька Кодицкий ему лоб разбил кирпичом. Он его вообще убить хотел.

– За что?

– Никто не знает. До сих пор.

– Вы адрес Кодицкого помните?

– Конечно.

– Давайте-ка я запишу.

Кодицкий

– Я этого человека, по правде говоря, ненавижу, а поэтому вам нет смысла со мной говорить. Объективности во мне быть не может.

– А в чем д-дело? – поинтересовался Садчиков.

– В нас с ним.

– Вы мне мож-жете рассказать?

– Нет.

– Нам сейчас дороги даже самые крохотные крупицы сведений о нем.

– Это ясно.

– Так что нам нужна ваша помощь.

– Я же говорю – я тут необъективен.

– А что вы можете рассказать о нем – даже необъективно?

– Какой смысл в необъективных сведениях? Мне он кажется уродом, а на самом деле это не так. Я его считаю кретином, а он далеко не глуп. Я его считаю подлецом, а он был где-то просто совершенно обыкновенным, только слабовольным и самовлюбленным человеком. Я его ненавижу как преступника морального. Даже как убийцу – косвенного. А он про это ничего не знает... Так что – какой смысл?

– З-знаете, будет даже бесчестно с в-вашей стороны не рассказать мне все. Либо вы не должны б-были мне говорить того, что сказали только что, либ-бо уж договаривайте. Тогда он был убийцей косвенным, а сейчас он убийца прямой. С наганом в кармане, ясно это в-вам? Он сейчас ходит по городу с оружием!

– Вы будете протоколировать то, что я скажу?

– Вы не х-хотите этого?

– Я требую, чтобы этого не было.

– Обещаю вам.

– Так вот. У меня была невеста. В общем, где-то жена. Я уехал на практику. У меня был ключ от ее комнаты. И когда я вернулся на неделю раньше срока и вошел в комнату, я увидел в кровати вместе с ней его. Ясно вам?.. Это случилось в ночь перед моим возвращением. Приехали наши ребята и устроили у нее вечеринку. Пили, смеялись, шутили. А он ей мешал водку с вином. А когда все разошлись, он остался у нее. Он нарочно напоил ее.

Я тихо ушел из квартиры – они не слышали меня – и ждал его в подьезде где-то часа четыре. Я начал бить его, я бы его убил. Но он убежал. А она потом вышла замуж за одного моего приятеля. Он любил ее еще со школы... Ей ничего не оставалось делать, потому что

тогда не разрешали аборт. И родила мальчика. От него, от этого негодяя. Понимаете? А ведь она была честным человеком. Честный же человек, совершивший подлость, ищет искупления. А она вольно или невольно – мне где-то очень трудно судить об этом – совершила три подлости: с ним, со мной и с моим другом, который ничего не знает до сих пор. И вот в прошлом году, летом, она нашла искупление во время маршрута георазведки по горному Вилюю.

– Понятно. Я, конечно, н-нигде не буду записывать этого. Но мне нужно ее имя.

– Зачем?

– Для будущего. И за п-прошлое.

– Ее звали Ляля. Доброе имя, правда? Очень нежное и простое.

Кодицкий долго зашнуровывал ботинок, а потом, продолжая шнуровать, сказал:

– Вот все, что я могу сказать вам. Все остальное будет просто ненавистью. Я бы убил его тогда, но он убежал из дома. Я караулил его неделю, а потом уехал в тайгу. Из-за этого я кончил институт на полтора года позже остальных. Сегодня вы меня застали случайно: я в Москве бываю не больше месяца в году... Сейчас готовлюсь пройти по Вилюю: в прошлый раз у них ничего не вышло, она там погибла, так, может быть, мне повезет.

– Большая экспед-диция? – спросил Садчиков.

Кодицкий кончил шнуровать ботинок и ответил, усмехнувшись:

– Там видно будет.

– Но Шрезеля вы с собой не возьмете?

– Аппарат у вас четко работает...

– Иначе бы за что деньги платить?

– Нет, я не возьму Шрезеля. К нему-то ведь я ничего не имею.

Опознают

Ленька сидел в коридоре управления и уже в сотый раз считал количество трещин на паркетинах. Он сбивался, начинал снова, доходил до полусотни, но цифры мешались у него в голове. Он считал для того, чтобы не думать о том, как завтра в школе, утром, в восемь часов, начнется экзамен на аттестат зрелости по литературе. Но он обманывал себя, высчитывая трещины на паркетинах. Он все время думал об этом солнечном утре, о партах, которые пахли свежей краской, о Льве – торжественном и чопорном, и о малышах, которые обычно преподносят цветы десятиклассникам, смущаясь при этом и наступая друг другу на ноги.

Он вдруг вспомнил, словно увидел кинокадры, тот сентябрьский день, когда отец привел его в школу. Он не помнил себя, он только мог себя представить – маленького, в длинной серой гимнастерке, перетянутой поясом, который все время сползал с живота. Но он точно помнил отца – у него были холодные пальцы, когда он сжимал Ленькину маленькую руку, подводя его к торжественной линейке первоклассников. День тогда был совсем летний, и осень угадывалась только в том, как высверкивали паутинки, попадая в переливы белого солнца.

«Ну, сынка, иди, – сказал отец, – иди и не бойся...»

Отец часто повторял эту фразу: «иди и не бойся». Он всегда был смелым человеком, его отец: и когда его оклеветали в тридцать седьмом, и когда он строил дорогу на Колыме, и на фронте – сначала в штрафбате, а потом в саперных войсках, где он дослужился до майора и получил три ордена, тяжелое ранение и контузию; он всегда был смелым человеком, всегда и всюду – кроме дома. Здесь, когда начинались скандалы, Ленька прятал голову под подушку, чтобы не видеть отца – совсем не похожего на самого себя, жалкого и беспомощного... После скандалов и мать и отец задабривали Леньку, каждый старался утащить его к себе, а сердце у мальчонки разрывалось, потому что нет детей, которые бы любили мать больше отца или наоборот. Пожалуй, никто так не наделен чувством справедливости, как дети.

«Иди и не бойся...» Ленька часто вспоминал слова отца во время домашних скандалов. Укрыв голову подушкой, он плакал, потому что гнетущее чувство страха не покидало его в те часы: ничто так не калечит ребенка, как домашние сцены.

Вчера вечером, когда он сидел с Костенко и Садчиковым, страх, похожий на тот, который он испытывал дома, ушел, и тюрьма не казалась ему такой ужасной, как днем у Льва. Но сейчас снова давешний тяжелый и липкий страх делал его безвольным и обессиленным. Постепенно в нем рождалось чувство сначала непонятной, а потом все более осязаемой и давящей злости. Его стали раздражать шаги проходящих мимо людей, количество этих проклятых трещин на паркете, полумрак, который его окружал, и тишина, царившая вокруг. Потом он вспомнил горьковского Самгина и тот эпизод, который Лев вместе с ними читал в классе вслух. И эти страшные слова: «А мальчик-то был? Может, мальчика-то и не было?» – показались ему сейчас пророческими и неотвратимыми. Сначала тюрьма, потом трудовая колония, лопата и нары, а жизнь – мимо. Прощай, поэзия, институт, длинные редакционные коридоры, о которых он мечтал уже года три, прощай, ночная Москва, вся в серой дымке, таинственная и прекрасная. А через десять лет, или сколько там дадут: год, два – больше или меньше, разницы в этом никакой, – вернется он обворованным. Юности у него не будет. Было детство, а наступит изломанная, ни во что не верящая и ничего не желающая зрелость.

И за всеми этими думами Ленька все время видел лица Костенко и Садчикова, которые кормили его колбасой, поили газированной водой и улыбались, будто они его друзья, а ведь именно они посадят его в тюрьму, именно они искалечат его жизнь, лишат его всего того, что ему дорого и без чего он не может. Что им его стихи, его поэзия и его мечты? Что им?..

Работники скупки и домовой лавки, которые были ограблены восьмого и двенадцатого мая, пришли в управление, для того чтобы опознать одного из грабителей. В кабинете у Садчикова посадили трех парней, приглашенных студентов-практикантов из университета. Студенты все время улыбались и весело переглядывались – это была их первая практика. Садчиков сказал:

– Вы это, х-хлопцы, бросьте. Мы сейчас приведем т-того парня, так ему не до улыбок. Ясно? Вы его так сраз-зу под монастырь подведете. Так что давайте без шуток, пожалуйста...

Леньку посадили между двумя парнями – высокими, в легких теннисках. Четвертого, выпускника МГУ – Сашу Савельева, устроили чуть поодаль. Садчиков оглядел их всех и попросил Костенко:

– Зови кассира из лавки.

Женщина вошла и остановилась у двери. Она испуганно посмотрела на четырех сидевших вдоль стены, а потом, как на спасителя, на Садчикова, усевшегося на подоконнике так, чтобы не было видно его лица.

– Вы здесь н-никого не узнаете? – спросил он. – Из тех, что у вас б-были?

Женщина осторожно скосила глаза, быстро пробежала взглядом по лицам четырех ребят и отрицательно покачала головой.

– Никого, – тихо сказала она.

– Никого? – переспросил Костенко.

Она снова покачала головой.

– Не слышу, – сказал Садчиков.

– Не узнаю, – сказала женщина.

– Спасибо. Вы с-свободны.

Костенко пригласил оценщика из скупки. Он вошел, огляделся, осторожно поклонился Саше Савельеву, который сидел чуть поодаль, потом перевел взгляд на Садчикова и спросил:

– Эти?

– Я вас хотел спросить...

– Ах, негодяи паршивые! – начал он, разглядывая трех, сидевших у стены. – Ах, паразиты поганые! Нет на вас креста, мерзавцы!

– Тише, тише, – сказал Костенко, – давайте без эмоций.

Оценщик еще раз внимательно осмотрел всех, а потом сказал:

– Из этой троицы никого.

– А этот? – показал Костенко на Савельева.

– Этот? В синей рубашке?

– Да...

Оценщик быстро взглянул на Садчикова, потом так же быстро на Костенко, словно желая выяснить, какой ответ их устроит, ничего по их глазам не понял и неопределенно протянул:

– Да... Лицо, прямо скажем...

– Какое? – спросил Садчиков.

– Вы же сказали – без эмоций...

– Я вас спрашиваю: он или нет?

– Как вам сказать...

– Ладно, спасибо, – сказал Костенко, – больше ничего не надо.

Девушка, которая выписывала в скупке чеки, оглядев всех, сразу же сказала:

– Здесь никого нет.

Садчиков облегченно вздохнул.

– Спасибо, ребята, – сказал Костенко. – А тебя, Савельев надо в камеру. Лицо-то у тебя, «прямо скажем», а?

Ленька разлепил губы и спросил:

– Можно попить?

– Валяй, – ответил Садчиков. – Что, п-перетрусил?

– Нет. Теперь все равно.

– Глупость говоришь.

– Может быть... Только я так думаю...

– Глупость, – повторил Садчиков. – Сиди т-тут, я сейчас.

– Ты куда? – спросил Костенко.

– Да так... – ответил Садчиков. – Скоро вернусь.

Самсонов сидел у комиссара и плакал. Весь обмякший, жалкий и – это было сразу видно – тяжелобольной. Только поэтому комиссар сдерживался, чтобы не сказать ему всего того, что сказать бы следовало. «Не можете вместе жить – разойдитесь к черту! Себя мучаете и парня губите! Когда дома непорядок, дети в первую очередь гибнут. Хочешь видимость семьи сохранить, чтобы парня не травмировать, – уезжай к черту в свои леса! Наведывайся два раза в год: и жена твоя будет довольна, и дома тихо. А если она начнет здесь флирты там всякие с тити-мити, возьми парня к себе, в институт всегда успеет, а руками на стройке помахать тоже полезно. Для поэтов особенно. А так – вы грызетесь, а нам потом ребят в тюрьму сажай, да? Мы плохие, а вы хорошие и добренькие? Плачете, к сердцу нашему взываете, да? А оно у меня что, каменное, сердце-то? Или, может, нет?»

Комиссар засопел и, не удержавшись, сказал:

– Совести в вас ни на грош, товарищ Самсонов...

Вошел Садчиков и стал у порога.

– Да входите же, – досадливо поморщился комиссар.

– Он на тех д-делах не б-был.

– А вы сомневались?

– Если бы я не сом-мневался, вы б меня с работы уволили, т-товарищ комиссар.

– Тоже верно. Ну, что будем с ним делать? У парня, понимаете ли, завтра начинаются экзамены на аттестат зрелости. В восемь утра русский письменный.

– Знаю.

– Да. Сочинение. Парень-то с-способный, товарищ комиссар, явно с-способный...

– Куда его будем помещать? В приемник или пока подержим у нас, в камере?

Самсонов закрыл глаза ладонью и начал медленно раскачиваться на стуле – вперед-назад, вперед-назад...

Садчиков сказал:

– Я бы его отпус-стил по подписке. Вот и от-тец здесь. И чтоб без отца носу на улицу не высывывал...

– Отец – дело, конечно, великое. Только вы давайте свяжитесь со школой. Как они на это посмотрят... Пусть письмо мне напишут... Иначе я ничего не смогу сделать. Надо мной тоже много начальников, мил душа, сами знаете...

– Слушай, – сказал Садчиков Леньке, – мы т-тебя отпускаем до суда.

– Что?

– То, что с-слышишь. Отпускаем.

– Куда?

– В школу.

– А после?

– Домой. Сиди и н-носа не высывывай. После экзамена позвони – ты мне будешь нужен.

Читу будем вместе ловить.

– Читут?

– Нет, г-гориллу, – сказал Садчиков. – Что-то ты, парень, соображать перестал от радости.

– И я сейчас могу уйти?

– Пропуск сначала надо в-выписать.

– Куда?

– В баню. Смотри с р-радости не натвори еще чего. Только завтра сразу после экзамена з-звони. Не забудешь? На телефон. Р-ребятам ничего не говори. Понял? Б-будут спрашивать – отшучивайся. Никто не должен знать, что ты был в к-кассе, а потом – у нас. Понял?

– Понял.

– Ну, будь здоров, Ленька. До з-завтра. Иди вниз, там отец ждет...

Самсонов бросился к Леньке и стал быстрыми сухими и очень холодными руками ощупывать его лицо, голову и плечи.

– Мальчик, мальчик, мальчик мой, – говорил он быстро, и губы у него тряслись, и лицо плясало, и слезы текли из глаз. – Ну что ты, что ты, Ленечка, ну не надо, все кончилось, мальчик, все прошло, не надо... Ну прости меня, мама тоже все поняла, она ждет нас, мальчик, она все поняла...

– Не надо, папочка, – так же быстро и тихо просил Ленька, – только не надо так говорить, папочка, ты так никогда не говорил. Не надо так со мной разговаривать, папочка.

Вечером у комиссара собрались Костенко, Садчиков и Росляков. Комиссар неторопливо расхаживал по кабинету, иногда задерживался возле окна, рассматривая прохожих. Докладывал Садчиков:

– Таким о-образом, взвесив собранные оперативные мат-териалы, мы предлагаем с завтрашнего дня установить к-круглосуточное дежурство и патрулирование по центральным улицам города с прочесыванием ресторанов. Думаю, что т-там, и только там, мы можем найти Назаренко. Выйти на п-прямые связи преступника нам пока что не удалось. Продолжаем разрабатывать в-версию тренера, по словам одного из опрошенных, длинного парня, сходного по

п-приметам со вторым преступником. Тот, по-видимому, является г-главарем банды, но самое надежное – выйти на него ч-через Назаренко.

– Вы будете по улице Горького гулять, – сказал комиссар, – а он сейчас – ту-ту – в Сочи, может, едет. Или в Риге сидит в кафе и молочные коктейли пьет. Так может быть?

– Может, – согласился Садчиков.

– А вы себе тут на улице Горького курорт устраиваете.

– Курорт – на Черном море, – сказал Костенко.

– На Черном море, если быть точным, не курорт, а отдых, Костенко. Курорт – в Эссен-туках, где кишки промывают...

– Мы не видим иного пути, – упрямо повторил Костенко.

– Вот и плохо. А вы что думаете, Росляков?

– То же, что товарищи...

Комиссар внимательно посмотрел на Костенко, пожевал губами, и некое подобие хитрой усмешки появилось у него на лице.

– Вы мне эту корпоративность бросьте! Костенко – якобинец, а вы свою голову имейте на плечах! В одну дуду дуете? Скучно жить, если все в одну дуду!

– Это не дуда, товарищ комиссар, – заметил Костенко, – а наше мнение...

– Засаду на квартире оставили? – спросил комиссар.

– Так точно.

– В отделениях его фотографии уже есть?

– Да, но только институтских времен.

– Что он, себе перманент, что ль, с тех пор накрутил? Ладно. День, от силы два побродите. Только трое вас – густо на одну улицу. Садчиков пусть будет здесь, а вы себе возьмите опера из пятидесятого, он улицу Горького как «Отче наш» знает. Росляков пускай еще раз пройдет по всем его связям. По всем. Вот так. Все. Можете быть свободны...

Маша

Теща Костенко работала на фабрике в ночную смену. В комнате было тихо и пахло свежесмытым полом. На столе рядом с тарелкой, на которой лежали помидор, два огурца и несколько ломтиков колбасы, белело письмо, придавленное ножом.

Костенко включил свет, сел к столу и вскрыл конверт.

«Здравствуй, милый!

Я сегодня видела очень хороший сон. Как будто мы пошли с Аришкой на пруд, туда, к заводу, около старой мельницы, и начали стирать белье. Мы очень долго стирали, потому что Аришка какая-то сумасшедшая, когда можно постирать. Она готова возиться в воде часами. От этого у нее пошли ужасные цыпки, и ты, пожалуйста, купи детского вазелина в тубике и обязательно нам пришли. Так вот, стираю я белье и вдруг вижу, как по тропинке из леса идешь ты и кидаешь в нас камушками. Правда, чудесный сон? Во всяком случае, со значением. Это я к тому – когда у тебя будет отпуск? Ты ведь обещал скоро приехать, и мы тебя страшно ждем. Аришка ко мне все время пристает: „Скоро папа приедет?“ Я говорю: „Скоро“, а она: „Ты честно говоришь?“ Я отвечаю: „Ну конечно“. Тогда она улыбается и просит: „Скажи громче“. Когда поедешь, обязательно купи в „Синтетике“ ведро и тазик, чтобы она не сидела в холодной воде. Солнце очень жжет, а вода по-прежнему холодная. Вообще этот год какой-то ненормальный. Бабки в деревне говорят, что високосный год очень опасен; они уверяют, что в високосный год опасно есть рыбу, потому что многие умирают, подавившись костями. Может быть, это чушь, только ты рыбу не ешь, пожалуйста, а то я очень волнуюсь.

Миленький мой, как ты там один? Я тебе, наверное, ужасно надоела со своими посланиями. Но спрашивать тебя, как и что ты ешь, нелепо, потому что я все прекрасно знаю, а

помочь, даже если б жила рядом, не смогла. Говорят, когда питаешься без режима, надо есть аскорбинку. Это у нас на заводе давали, когда я работала в трубопрокатном. Я тебе все забывала об этом сказать, а тут вдруг вспомнила.

По вечерам здесь поют песни. Знаешь, интересно, поют одни бабы. Мужики только слушают, сидят на завалинке, курят папиросы и слушают... Очень сосредоточенно слушают, будто работают... А до войны, мама говорила, и мужики пели... Аришка очень смешно выводит: „Летят утки и два гуся“, слух у нее хороший, но я ни за что не буду заставлять ее учиться музыке. Это должно быть в человеке заложено – как жажда. Если она сама будет просить – тогда отдадим ее в школу... И потом пианино поставить некуда... Если мы еще пианино поставим – придется нам самим в палатке, на улице, жить... Не ругайся в исполкоме: сколько уже терпели, теперь, наверное, недолго осталось... А вообще, была б моя воля и не окажись я твоей „подкаблучной женой“, переехали бы мы в деревню, право слово... Наш участковый, дядя Прохор, так хорошо живет: ездит себе на лошади и нюхает воздух – где самогон пьют... Сирень цветет всю: деревня в белой кипени; рано утром выйдешь на крыльцо – туман еще лежит над рекой, и даже не верится, что это все правда... Ты заметил, когда очень красиво и хорошо, люди обычно говорят – „как в сказке“.

Ой, приезжай, пожалуйста, скорее! Целуем тебя. А это тебе рисует Аришка: красную рыбу с белыми глазами, грозу и дождь. Целую. Маша».

Садчиков и Галя

– Послушай, Г-галка, – сказал Садчиков, – у нас все-таки нелепые законы.

– Это что-то новое у тебя, – сказала Галина Васильевна, – откуда такая оппозиционность?

– Нет, п-правда, – повторил Садчиков. – Мне сорок три, а уже пора на пенсию. За шестнадцать лет я в-выработался, как за пятьдесят.

– Напиши в правительство.

– Очень хорошая идея, – усмехнулся Садчиков, – там все ж-ждут моего письма как манны небесной. Дети спят?

– Конечно. У Леночки болит горло, я боюсь, как бы она не заразила Никитку. Говорят, у нас во дворе ангина и коклюш.

– Да? Черт, п-плохо.

– У тебя прелестная реакция на мои сообщения, – заметила Галина Васильевна, – я завидую твоему спокойствию.

– Зависть – черное чувство, оно п-портит человека, – улыбнулся он.

– Не одно оно.

– Тоже верно. Слушай, у меня есть к-крахмальные рубашки?

– Ты сегодня совсем не похож на себя. Сначала пенсия, потом крахмальные рубашки.

Где логика?

– Я ее оставляю на Петровке, в с-сейфе. Без нее мне легче дышится. Это довольно каверзная штука – логика.

– У тебя плохое настроение? Что-нибудь стряслось на работе?

– Да нет, ничего особенного.

Галина Васильевна отошла к шкафу и стала перебирать ящик с бельем.

– Бедный мой Садчиков! – сказала она, вздохнув. – У тебя нет крахмальных рубашек.

– Плохо. Вообще мне надо купить несколько крахмальных рубашек.

– Их не покупают. Их крахмалят дома.

– Это я хитрил. Только дети думают, что соленые огурцы растут на грядках.

– Городские дети...

– Деревенские тоже. До г-года.

– До трех.

Садчиков предложил:

– Сойдемся на двух, а?

– Ты ужасно испортился за последнее время, – вздохнула Галина Васильевна. – Этот жаргон: «сойдемся».

– Тебе б-больше нравится «разойдемся»? – спросил Садчиков.

Галина Васильевна обернулась к нему, закрыла ящик с бельем и медленно ответила:

– Иногда.

– Что с-с т-тобой?

– Ничего.

– Я спрашиваю т-тебя.

– А я отвечаю. Это твой обычный ответ. «Ничего» – и все тут.

– Ты же умная ж-женщина.

– Боюсь, что ты ошибаешься. Сейчас с умными женщинами туго. А особенно с женами.

– Что с т-тобой, Галка? – повторил Садчиков.

– Ничего, – ответила она и, взяв его белую рубашку, ушла в ванную комнату.

Он вошел к детям. Они спали, разметавшись в своих кроватках. Садчиков любил подолгу смотреть, как они спали. Тогда все дневное, тягостное отходило, растворялось, а потом исчезало вовсе.

«Семь лет, говорят, критический срок в браке, – думал он. – Сначала три года, потом семь, а потом одиннадцать. Если пережить эти три рубежа, тогда все будет в порядке. Значит, три мы пережили. Сейчас остается пережить семь. А что, собственно, случилось? Почему она сегодня такая? Просто отмечает семилетие как фактор? Если б ей делать нечего, а то ведь и в клинике работает, и дома. А почему, собственно, я сразу начинаю с нее? Может быть, начинать надо с меня? Наверное, да. Хотя считается, что в семье все от женщины. От нее идут и спокойствие, и неурядицы. Считается? А почему так считается? Черт, как бы сохранить – внешне – все атрибуты влюбленности? Женщины все-таки ужасно любят внешние проявления влюбленности. Они смущаются, когда им целуют руку, но им же это нравится. Разве нет? Теперь буду каждый вечер целовать Галке руку, – усмехнувшись, решил Садчиков, – может быть, это ее успокоит...»

...Она разводила крахмал на кухне и плакала так, чтобы он не мог ее слышать. Думала: «Мы с ним живем вместе, а ведь я ему чужая. Он живет своим делом, куда мне нельзя соваться, иначе по носу дадут, как любопытной кошке. А разве все так должно быть? Зачем же тогда одна крыша? Или это во мне говорит наша исконная бабья дурость? Что мне надо? Он не пьяница, не гуляка – чего же еще? Но ведь подло так думать по отношению к себе самой. Это значит – совсем не уважать себя. Раз водку не пьет, и с чужими бабами не спит, и деньги домой приносит – значит все хорошо, да? А сердце хочет еще чего-то... Тот маленький красный комочек, который я режу и шью, он хочет чего-то еще, того, чего у нас нет. А чего у нас нет? Журналов вслух не читаем? В зоопарк с детьми не ходим? Чего же мне надо? Может быть, я негодяйка просто-напросто? Может, это во мне инстинкты разгулялись в тридцать пять лет, а я под них подвожу основу?»

Галина Васильевна вздрогнула и стала быстро мыть лицо, чтобы он не заметил, как она плакала. Потом она накрахмалила рубашку и тихонько позвала:

– Милый, не сердись, пожалуйста, это я просто дура.

Но Садчиков не слышал ее. Он спал, укрыв голову подушкой, и стонал во сне.

Галина Васильевна присела на стул возле кровати и долго смотрела на спящего Садчикова.

«Ничего у нас не выйдет с ним, – вдруг отчетливо и горько поняла она. – У него своя жизнь, а у меня – своя. Только моя жизнь интересней его: когда я в клинике, среди моих дру-

зей, я себя чувствую совсем иначе. Я ведь прощаю и Григорию Павловичу, и Роману, и Нине Константиновне то, что никогда бы не простила Садчикову: и злую шутку, и даже крик – Роман кричит как полоумный, когда делает обход... Зачем же я мучаю бедного Садчикова, которому стольким обязана? Развестись? А ведь он меня любит... Никто и никогда так не будет меня любить, как он... Хотя, может быть, важнее, чтобы *ты* любила, а не тебя любили... Как это говорят юристы – „модус вивенди“? Наверное, нельзя оставлять детей без отца... Надо жить, сохраняя приличия, хотя нет ничего страшнее, чем брак без любви... Все равно, рано или поздно, это отомстит нам – и мне и ему... Сказать ему, что надо расстаться? Он не поймет... Добрый, милый Садчиков... Он не поймет... Он живет по своим законам, и он решит, что я спятила... И – наверное – правильно решит...»

Чита и Сударь

Как правило, люди не очень умные обладают изумительным чувством интуиции. Это труднообъяснимо, но это так. В тот самый день, когда пришел Сударь и попросил спрятать пистолет, Чита испугался, но давнишнему другу отказать не посмел. С тех пор он стал бояться ночевать дома один. Он приглашал свою любовницу Надю – натурщицу из художественного училища, но все равно не мог заснуть до трех, а то и пяти часов утра.

– Надя, – шептал он, – ты только не спи.

– А что? – сонно спрашивала женщина.

– На лестнице кто-то стоит, – говорил он. – Ты никому не рассказывала, что у меня будешь?

– Любовнику говорила, – сонно шутила Надя и отворачивалась от него к стенке.

– Надя, – шептал он, – ты завтра днем поспишь, а пока лучше поговори со мной.

– Да ну тебя... Зазывает, а сам только говорит. Что я тебе, для собеседований нужна? Или для любви?

Надя снова засыпала, а Чита лежал и смотрел в потолок. Он не мог себе объяснить, чего он боялся, но страх был четок и осязаем. Особенно под утро, когда воцарялась тишина и все вокруг делалось непроглядно темным, а потому зловещим. Эти ночи без сна казались ему бесконечными. После трех дней Чита понял, что дальше он так не может. И он пошел к Сударю...

Сударь жил на окраине, в новом доме, где им с матерью дали однокомнатную квартиру, после того как отец Сударя был арестован по делу Берия органами государственной безопасности.

Мать круглый год жила в Сухуми, у мужа покойной сестры, а Сударь был здесь, в Москве. После того как отец был арестован, Сударь продолжал работать тренером. Он был хорошим бегуном, но мастером спорта не стал, потому что пил. Когда был отец, он не думал о деньгах. Когда отца не стало, он начал думать о деньгах. Сначала он занялся перепродажей магнитофонов и приемников. Он заработал сразу несколько тысяч рублей, часть пропил, а часть положил на сберкнижку. Потом, почувствовав, что перепродажа магнитофонов – шаткое и опасное дело, он переключился на спекуляцию рыбой. У Сударя была «Победа», он уезжал в пятницу на Большую Волгу, покупал задарма в рыболовецком колхозе двести килограммов свежих окуней, а в субботу утром уже стоял около ворот Малаховского колхозного рынка. Здесь у него были свои люди, они брали товар оптом, и Сударь увозил домой пару тысяч: на неделю ему хватало. Потом барышников забрала милиция, и Сударь, приехав в субботу к условленному месту, остался ни с чем. Рыба протухла, и он, помотавшись по московским базарам без толку, ночью выбросил ее в Москву-реку. Приехав домой, он напился до зеленых чертей и начал бить о стены блюда и чашки.

Утром он долго не мог сообразить, что с ним. Голова трещала, во рту было горько, руки тряслись. Он поехал на стадион, но вести занятия не мог, потому что очень мутило. Его строго

предупредили, а занятия перенесли на другой день. Сударь уехал за город, туда, где раньше у них была дача, и лег в высокую траву.

«Ненавижу все! – пронеслось в мозгу. – Все и всех ненавижу. Они у меня отняли то, что было моим. За это они должны поплатиться».

Сударь лежал в траве, смотрел в небо и продолжал думать: «А кто они? Люди. И те, которые наверху, и те, кто внизу. Все они виноваты в том, что случилось со мной». Сударь вспоминал, что с потерей отца он лишился всего, к чему привык с детства. А привык он к шоферам, которые возили его с девушками за город; к паюсной икре и дорогим коньякам, которые обычно пил отец; к лучшим портным и к деньгам, которые были у него всегда. Впервые отец дал ему денег, когда он учился в пятом классе. Мальчик попросил отца в воскресенье помочь ему с арифметической задачей – у него никак не сходился ответ. Отец достал из заднего кармана галифе пачку денег и сказал: «Пусть тебе наймут репетитора». Потом он научился понимать, что можно было просить у отца, а что – нельзя. Он понял, например, что нельзя просить отца пойти с ним в зоопарк или в Парк культуры. Он завидовал тем ребятам, которые ходили с родителями в кино и театры – он был этого лишен. Он не мог просить отца сыграть с ним в «морской бой», в «слова» или в шахматы. Но зато, – став взрослее, он себя успокаивал этим – он всегда мог попросить у отца машину, деньги, путевку на юг. Но он помнил, и сейчас до ужаса ясно видел, как отец, вернувшись с работы под утро, бледный, с белыми глазами, бил мать нагайкой, а потом запирали ее в уборной и приводил к себе молчаливых пьяных женщин. Сударь помнил, как отец, загнав его в угол, избил до полусмерти. Сударь на всю жизнь запомнил страшное лицо отца, его синюю шею и железные кулаки, поросшие белыми торчащими волосинками. Сударь тогда мечтал о том, чтобы отец умер, а им бы дали пенсию и оставили машину, дачу и шофера. Но отец не успел умереть. Его расстреляли вместе с Берия.

...Вернувшись в Москву вечером, Сударь проткнул шилом несколько баллонов у машин, которые стояли в их дворе. Он смотрел из окна, как владельцы, чертыхаясь, клеили баллоны и ругали милицию, которая не может навести порядка. Он стоял у окна, тихо смеялся и чувствовал себя отомщенным – хоть в малости.

С работы его прогнали через полгода за пьянство. Тогда он начал отгонять машины от автомагазина на Бакунинской до берегов Черного моря тем, которые сами не умели водить. Ему за это неплохо платили, и неделю он ни о чем не думал, а только вел машину и пел песни. А потом и это кончилось: с него взяли в милиции подписку об устройстве на работу. Сударь начал работать снабженцем на текстильной фабрике. Именно здесь он и познакомился с человеком, который называл себя Прохором. Здесь он впервые попробовал, что такое наркотик; здесь он впервые – в холодном, яростном полубреду – услышал «программу» Прохора: как и кому надо мстить.

Чита пришел к Сударю вместе с Надей.

– Слушай, – сказал он, пока Надя варила на кухне макароны, – хочешь, я тебе мою Надьку на ночь оставлю, а?

– Хочу.

– Такая, знаешь, женщина...

– Ничего бабец.

– Только пистолет у меня заberi.

Сударь ответил:

– Не-е. Ты у меня на крючке с этим пистолетом. Хочешь, в милицию позвоню? Обыск, кандалы, пять лет тюрьмы – и с пламенным приветом! Надька и так ко мне в кровать прыгнет.

– Сволочь ты...

– Ну-ну!

– Тогда четвертак дай. Я спать не могу – страшно. Может захмелюсь – усну...

– Ничего, потом отоспишься. А деньги – их зарабатывать надо, а не кланчить.

- Как?
- Умно. Хочешь пятьсот рублей получить?
- Пятьдесят?
- Пятьсот. Пять тысяч по-старому.
- Конечно хочу.
- Ну и ладно. Завтра получишь.
- Только слушай, Сударь... Может, ты что-нибудь не то придумал?
- То! Я всегда то, что надо, придумываю.
- На преступление не пойду.
- Ой, какой передовой! Может, в народную дружину записался? А? Мы тебе рекомендацию справим, характеристику дадим... Добровольцем-комсомольцем на целину не хочешь? А? Что молчишь? Ты не молчи, ты мне отвечай...
- Я на преступление не пойду, – повторил Чита. – Сколько б ты мне ни сулил.
- Молчи. Ты только молчи и меня не беси, понял? «Не пойду на преступление»! А кто у меня на кровати Милку изнасиловал? Кто? Ей пятнадцать, она несовершеннолетняя, это забыл? А кто со мной часы у пьяного старика в подъезде снял? Это забыл? А кто мне про ящики с водкой сказал? Это тоже забыл? А кто таксиста ключом по голове бил? Я? Или ты? Номер-то я помню: ММТ 98–20! Девятый парк, восьмая колонна, мальчик! Он тебя узнает, обрадуется! На мои деньги пить, жрать и с бабами шустрить ты мастак, да? Пошел вон отсюда! Ну!
- Что ты взъелся? Я про тебя тоже знаю...
- Я сам про себя ничего не знаю. Давай гребни отсюда, гребни.
- Дай пожрать-то.
- Не будет тебе здесь жратвы.
- Мне ехать не на чем.
- Пешком топай. Или динамо крути – это твоя специальность.
- погоди, Саш, давай по-душевному лучше поговорим. Ты сразу не кипятишь только. Ты мне объясни все толком.
- «Толком»... Я больше тебя жить хочу, понял? Я глупость не сделаю, не думай. Я семь раз взвешу, один раз отрежу. И если тебя зову, так будь спокоен – значит, все у меня проверено, значит, все как надо будет. Люди трусы. Видят, как жулик в карман лезет, – отвернутся, потому что за свою шкуру дрожат. А если пистолет в рыло – он потечет вовсе, понял? Сколько надо, чтобы взять деньги? Две минуты. И машина у подъезда. С другим номером. Двадцать тысяч на четверых. Шоферу – кусок, и нам по пятерке.
- А остальные куда? – быстро подсчитав, спросил Чита.
- В дом ребенка, – ответил Сударь и засмеялся.

Он продолжал смеяться и тогда, когда ушли Надя и Чита. Смеясь, он подошел к тумбочке, на которой стоял телевизор, открыл дверцы и достал наркотик. После этого он еще несколько минут смеялся, а потом, тяжело вздохнув, лег на тахту и закрыл глаза. Полежав минуты три с закрытыми глазами, он сел к телефону и стал ждать звонка. Ровно в семь к нему позвонили. Перед тем как снять трубку, Сударь вытер вспотевшие ладони о лацкан пиджака и внимательно их осмотрел. Ладони были неестественного цвета.

«Завтра к гомеопату пойду, – подумал Сударь, – пусть пилюли пропишет».

Сударь снял трубку.

– Сань? – спросил глуховатый сильный голос. – Это ты, что ль?

– Да.

– Ну здравствуй. Как чувствуешь себя? Товар ничего?

– Марафет, что ли?

– Ишь пижон-то. Наркотик марафетом называешь... Смотри только слишком не шали.

- Я знаю норму, Прохор.
- Меня повидать не надо еще тебе, а? Не стыдно, а? Если стыдно – ты скажи, я пойму, я добрый. Это вы, молодежь, стыд забыли, а мы, старики, совестливые.
- Сударь засмеялся и сказал:
- Стыдно.
- Гуще смейся, а то, слышится мне, притворяешься ты вроде.
- Честно.
- Ну тогда хорошо, миленький, тогда я не волнуюсь...
- Не волнуйся.
- У меня за тебя по утрам сердце болит, Сань, все думаю про тебя, думаю... Жалею я тебя...
- Пожалел волк кобылу...
- Ну а когда повидаемся-то, Сань? – тоненько посмеявшись словам Сударя, спросил Прохор.
- Завтра. В девять. У «Форума».
- А это чего такое, «Форум»-то?
- Кино.
- А... А я думал, кинотеатр...
- Сударь сказал:
- Шутник ты, Прохор, – и положил трубку.

Назавтра в девять вечера Прохор передал Сударю еще два грамма наркотика и «дал наводку» на скупку по Средне-Самсоньевскому переулку. В тот же вечер Сударь поехал к шоферу Виктору Ганкину, вызвал его тонким свистом и условился о встрече. А потом, купив в магазине две бутылки коньяку, отправился к Чите.

После первого грабежа Чита домой не возвращался, ночуя то у Нади, то у Сударя.

Третьи сутки

По улице Горького

В кабинете у Садчикова Валя Росляков громил кибернетику, взывая к самым высоким идеалам гуманизма и человеколюбия.

– Она сделает мир шахматной доской, эта проклятая кибернетика! Она превратила людей в роботов!

– Ты с чего это? – поинтересовался Костенко. – Снова ходил на диспут динозавров с людьми?

– Нет, сидел у наших экспертов...

– Ну извини.

– Да нет, ничего. А вообще-то, черт-те что! Меня, индивида, проклятая кибернетика делает подопытным кроликом.

– А ты не хочешь?

– Не хочу.

– И правильно делаешь. А вот я очень хочу спать.

– Жалкие и ничтожные люди! – сказал Росляков. – Мне жаль тебя, Костенко. Ты не живешь вровень с эпохой.

– Ну извини.

– Иди к черту! – рассердился Росляков.

– Далеко идти.

– Ничего, наши кибернетики рассчитают тебе точный маршрут...

– Ладно. Тогда подожду... Только при других не надо так про кибернетику... Ей, бедолаге, так доставалось от наших мудрецов... А что касается подопытных кроликов... Ими мы останемся, не развивайся кибернетика, мать техники двадцатого века...

– А папаша этой матери – человек? Делаем иконы, а потом начинаем уговаривать самих же себя этим иконам поклоняться... Кто информирует кибернетическое устройство о том, что ему – будущему роботу – надлежит исполнить? Человек, Слава, человек, со всеми его слабостями, горестями и пристрастиями...

– Дурашка... Когда будут созданы саморегулирующиеся устройства, они не позволят машине делать то, что будет продиктовано пристрастностью или слабостью... Исходные данные машины не позволят ей творить зло.

– Это ты серьезно?

– Как тебе сказать... Вообще-то – в высшей мере серьезно... Успокаиваю себя...

– Ну вот! Так кто же прав? Да здравствует восемнадцатый век, Слава! Век самостоятельного мышления...

– Именно... Восемнадцатый век мыслил, потому-то девятнадцатый подарил нам электричество, железную дорогу и кинематограф... Тебе, Валя, в черносотенцы надо податься: они ведь тоже бояться нового... Ну, они – понятно, мыслишек не хватает, трусы внутри... Слушай, я тебя лучше уволю из нашей группы, а?

Вошел Садчиков и сказал:

– Давайте, ребята, на ул-лицу. Пожалуй, что на координации здесь останусь я. Это комиссар прав. Буду за связного. Позванивайте ко мне. Две к-копейки есть?

– Я запасся, – сказал Костенко, – в метро наменял.

– Ленька позвонит – я его к вам п-подключу. Этот старичок с бородкой, у-учитель его, гов-ворит, что к устному ему тоже нечего готовиться. Он у них лучший ученик по литературе.

Так что, я д-думаю, он с вами погуляет. Карточка карточкой, а когда в лицо знаешь, оно всегда н-надежней.

– Осудят его? – спросил Костенко. – Или все же на поруки передадут?

– Какой судья попадетя, – сказал Садчиков. – Раз на раз не приходится.

– Это будет идиотизмом, если парня посадят, – сказал Росляков. – Тюрьма – для преступников, а не для мальчишек.

– Какой он м-мальчишка? – возразил Садчиков. – Сейчас мальчишка кончается лет в тринадцать. Они, черти, образованные. С-смотри, как он стихи читает! Словно ему не семнадцать, а все тридцать пять.

– Ну и хорошо, – сказал Костенко, – жизни больше останется.

– Это как? – не понял Садчиков.

– А так. Чем он раньше все поймет и узнает, тем он больше отдаст – даже по времени. Они сейчас отдавать начинают в семнадцать лет, на заводе, со средним образованием, а мы? Только-только в двадцать три года диплом получали. Потом еще года два – дурни дурнями. Диплом – он красивый, да толку что, если синяков себе еще на морде не набил...

– Жаргон, жаргон, – сказал Садчиков. – «Морда» – это ч-что такое?

Росляков засмеялся и ответил:

– Это лицо по-древнерусски.

– Нет, а правда, – продолжал Костенко, заряжая пистолет, – вон Маша моя... Три года на заводе поработала, а сейчас ее можно с пятого курса без всякого диплома на оперативную работу брать.

– Во дает! – усмехнулся Росляков. – Как жену аттестует, а? Скромность украшает человека, ничего не скажешь.

– Так я ж не о себе.

– Муж и жена, – наставительно сказал Валя, – одна сатана. Будешь спорить?

– Спорить не буду.

– То-то же...

– Нет, не «то-то же», – усмехнулся он. – Я не буду спорить, потому что пословица есть: «Из двух спорящих виноват тот, кто умнее».

– Во дает! – повторил Росляков.

– Ладно, пошли Читу ловить, – сказал Костенко и подтолкнул плечом Рослякова, – а то у тебя сегодня настроение, как у протоиерея Введенского, – только б дискутировать...

Они шли по улице Горького вразвалочку, два модно одетых молодых человека. Шли они не быстро и не медленно, весело о чем-то разговаривали, заигрывали с девушками, разглядывали ребят и подолгу топтались около продавцов книг. Со стороны могло показаться, что два бездельника просто-напросто убивают время. Походка сейчас у них была особенная – шаткая, ленивая, ноги они ставили чуть косолапо, так, как стало модным у пижонов после фильма «Великолепная семерка». Около «Арагви» к ним подключился третий – оперативник из пятого отделения. Костенко оглядел его костюм и спросил:

– Ты что, по моде тридцать девятого года одеваешься? И еще шляпу напялил. Сейчас на улице двадцать градусов, а твоя зеленая панاما за километр видна.

– Так я ж для маскировки, – улыбнулся оперативник. – Нас еще в школе учили, что шляпа меняет внешний облик до неузнаваемости...

– Для маскировки пойдя и сними ее.

– И брюки поменяй, – предложил Валя, – а то у тебя не брюки, а залп гаубицы. Такие брюки сейчас уже не маскируют, а демаскируют.

– Не обижайся, – сказал Костенко, – он дело говорит. Мы здесь будем бродить, ты нас найдешь. А то сейчас ты как на маскарад вырядился; «мастодонт-62»...

Ленька сидел уже полчаса, а писать сочинение все не начинал. Была вольная тема: «Героизм в советской литературе»; были темы конкретные: «Образ Печорина» и «Фольклорные особенности прозы Гоголя».

Лев Иванович несколько раз проходил мимо Леньки, а потом, после получаса, заметив, что парень до сих пор не взял в руки перо, остановился рядом с ним и тихо спросил:

– Леонид, в чем дело? Вольная тема специально для тебя.

Ленька взял ручку и обмакнул перо в чернильницу.

«Для меня, – зло подумал он, – черта с два! Я не могу писать эту тему. Это будет подлость, если я стану писать ее. Это будет так же подло, если в глаза человеку говорить одно, а за глаза другое. Почему он сказал, что это для меня? Он не должен был так говорить. Даже если он добрый, все равно он не имел права говорить мне это. Надо писать про Печорина. Или взять и написать про самого себя. Про то, что со мной было, и как я шел с убийцами в кассу, и как я молча стоял у окна, вместо того чтобы орать и лезть на них. Вот о чем я должен писать. И напрасно я провожу аналогию между Печориным и собой. Тот был честным человеком, а я самая последняя мелкая и трусливая дрянь».

Но он стал писать про героизм в советской литературе. Он писал быстро, ему было ясно, о чем писать, и он знал, что должен сделать, чтобы не считать себя потом негодяем и двурушником.

Он сдал сочинение первым и сразу же пошел искать автомат – позвонить на Петровку...

– Слушай, Росляков, а опер был прав: без шляпы довольно трудно. Тебе напекло затылок?

– У меня нет затылка, – ответил Костенко с достоинством, – у меня, простите, две макушки на том месте, где у прочих затылок.

– Ну извини, – сказал Росляков.

– Да нет, ничего, пожалуйста...

– Две макушки – это к чему? К счастью? Умный ты, значит, да?

– Именно. Два затылка свидетельствуют о незаурядности личности...

Они ходили по улице Горького уже часа четыре. Асфальт стал мягким, зной дрожал в воздухе. В мелких брызгах – улицу часто поливали неповоротливые, как броневики, и такие же пузатые автомобили – играла синяя радуга. Улица жила веселой и шумной жизнью. Быстрые студентки; негры; растерянные, сбившиеся в кучу транзитники с вокзалов; продавцы книг, домохозяйки с набитыми сумками, школьники; девушки из магазинов, выбежавшие на перерыв в синеньких, дерзко открытых халатиках; индусы в высоких тюрбанах и с пледами через плечо – вся эта многоликая масса людей шла мимо и рядом, и надо было не только радоваться, глядя на эту шумную и веселую толпу, но все время быть настороже, надо все время приглядываться – нет ли сине-красного шрама на лбу, нет ли большого рта, яркого, словно накрашенного помадой; надо было приглядываться к каждому мужчине среднего роста, который шел в темных очках и в кепке, потому что и Рослякову, и Костенко, и Садчикову казалось, что Чита будет обязательно в темных очках и в кепке, чтобы скрыть шрам на лбу. Им казалось так, потому что они долго сидели и перечитывали все показания о Назаренко, о его трусости и хамстве, о его страсти к ресторанам и к дешевой показухе, о его врожденной интуиции, осторожности и – вместе с тем – наглости.

Он обязательно должен появиться здесь, среди шума и веселья. Он должен играть перед самим собой в таинственный героизм. А такой героизм всегда нуждается в зрителях и в острых ощущениях. Один на один такие «герои» предадут друг друга, выкручиваются, стараясь свалить все на другого, плачут и впадают в истерику, они кричат и воют, проклиная все и вся.

Если бы Чита почувствовал за собой «хвост», если бы он хоть на минуту решил, что засыпался, то наверняка – в этом муровцы тоже были убеждены – пришел бы не к себе домой, а, скорее всего, на квартиру к своему длинному другу и заперся там, пережидая грозу.

По-видимому, грабители были здорово пьяны, когда взяли с собой Леньку. ОРУД уже работает по всем гаражам и районным ГАИ, но «Витьку», о котором говорили грабители, пока не нашли. Да и был ли Витька Витькой? Сколько их, Витек, в московских гаражах? Тысяч пятнадцать, не меньше... И точно ли помнит Ленька? Но взяли они его с собой, ясное дело, по пьянке. Дурачок парень. «Я читаю стихи проституткам и с бандитами жарю спирт...» А они его за это целовали. Ворюги сентиментальны, им бы детские сказки слушать, слез не соберешь. Опьянели, решили – свой, да и Лешка, верно, брякнул что-нибудь вроде того, что «жизнь надоела, смотаюсь отсюда к черту...». Есть такие – в семнадцать лет жизнь надоедает, а потом подушку зубами рвут, по нарам кулаками стучат, лбом о стенку бьются. Ну этого не посадят. Не должны. Глупо будет и жестоко. Хотя судья судье рознь, а закон для всех один. Был с бандитами? Был. Они стреляли? Стреляли. Банда? И да и нет. Они – банда, а он – дурачок. На всю жизнь наука. Дома тарарам, приткнуться некуда, оступился...

«Впрочем, – остановил себя Костенко, – что значит „оступился“? Плохо, что мы слишком вольно трактуем закон. „Закон что дышло: куда повернешь – туда и вышло“ – была когда-то такая поговорка. Трактовать по-разному допустимо поступок, а статьи закона обязаны быть едиными – вне всяких трактовок. Была банда – Чита и Длинный. Они не знали Леньку, а тот не знал их. Так? Так. Они позвали его с собой, не предупредив о своем намерении грабить кассу и стрелять в кассира. Смешно: „Пойдем, Лень, вместе с нами и убьем женщину в кассе...“ Другое дело – он должен был не в парадном прятаться, а сразу же, немедленно прибежать к нам... Это можно квалифицировать не только как трусость, но и как пособничество грабителям. С некоторой натяжкой – но можно... И судье будет трудно объяснить, что в этом его поступке есть доля нашей вины, вины милиции. Если б все милиционеры работали с тактом, умно, если бы все они были со средним образованием, а желательно – с высшим, – тогда другое дело. А ведь сами много портачим – разве нет?»

– Слава, – сказал Росляков, – ты бы съел мороженое?

– Два.

– Какое ты хочешь? Эскимо?

– Нет. Может быть, у нее есть фруктовое – я его больше всего люблю... Оно клубникой пахнет...

– Ладно. Я сейчас, мигом...

«Надо будет на суд пойти, – думал Костенко. – Может, судья согласится, выслушает. Или докладную комиссару напишет, что, мол, я влезаю в его компетенцию. Комиссар вызовет „на ковер“, это уж точно, он такие вещи не прощает... Ну что ж... Пусть еще один выговор влепит – переживу... Но в суд пойти придется».

Лев Иванович хотел было прочитать Ленькино сочинение, но завуч Мария Васильевна взяла его первой. Она читала и, поджав губы, усмехалась, потому что все написанное Ленькой было исполнено пафоса и красоты. Но в конце она вдруг споткнулась и покраснела. Она увидела строчки, написанные чуть ниже последнего абзаца сочинения. Там было написано: «Я знаю, что не имею права писать про это. Поэтому прошу мое сочинение не засчитывать. Без аттестата жить можно, без совести – значительно труднее. Л. Самсонов».

...Ленька долго не мог дозвониться к Садчикову, потому что номер все время был занят. Он шел по улице, время от времени заходил в телефонные будки, звонил на Петровку, слышал короткие гудки, получал обратно свои новенькие две копейки и двигался дальше. Он шел, внимательно присматриваясь к лицам людей. Он сейчас мечтал о том, чтобы встретить Читку и того, второго. Он сейчас бы знал, что надо сделать! Сейчас бы он бросился на них и вцепился

мертвой хваткой. Потом его, полуживого, – Чита обязательно должен был ударить его ножом в сердце и промахнуться так, чтобы рана не была смертельной, – привезли бы в больницу, он лежал бы белый и спокойный, а рядом на стульях сидели ребята в белых халатах... Наверняка пришел бы журналист из газеты, но Ленька б молчал, потому что ему трудно говорить, а за него бы рассказывали ребята. Потом бы пришли те двое, которые его допрашивали, и им было бы мучительно стыдно смотреть Леньке в глаза, а он бы улыбнулся им и подмигнул так, как они подмигивали ему позавчера ночью.

Он дозвонился, когда был уже на Пушкинской площади.

– А, Леня, – сказал Садчиков, – ну к-как, сдал экзамен?

– Сдал, – ответил Ленька.

– Свободен?

– Да.

– Давай-ка, дружок, б-быстренько ко мне, я пропуск уже заказал.

Когда Ленька сел на диван, Садчиков сказал:

– Ты сейчас пойдешь на улицу Горького. Там увидишь наших. Не обращай на них внимания. Не думай о них, х-ходи себе и смотри. Песенки пой. Мороженое кушай. Девушек р-разглядывай.

– Что я, пижон?

– По-твоему, только пижоны разглядывают девушек?

– Нет, но как-то...

– Ясно. Очень убедительно возразил. Так вот, ты ходи и смотри Читу. Если надо б-будет – ребята тебя окликнут. Увидишь Читу – поздоровайся с ним и иди дальше. Он сделает несколько шагов вперед, ты его оклики и попроси с-спичек. И все. Потом уходи. Только обязательно уходи. Дог-говорились?

– Да.

– А как со следующим экзаменом?

– Это ж литература.

– А м-математика?

– Она после. Ребята на мою долю шпаргалки пишут. Да потом...

– Что?

– Нет, ничего. Просто так...

Садчиков поморщился.

– З-знаешь что, Леня, ты эт-ти свои гимназические «просто так» и «мне теперь все равно» брось. В жизни с человеком может случиться всякое, но рук опускать ни при каких условиях нельзя... У меня друг есть, он с-сейчас доктор химических н-наук, лауреат, его весь м-мир знает. Так вот, он попал в передрягу почище твоей... Ес-сли это можно назвать передрягой... Он сбил человека, п-понимашь? Не важно, что тот сам б-был виноват... Посадили моего дружка, пять лет д-дали... А он знаешь, что в колонию попросил ему п-прислать? Книги. По его п-предмету... Вернулся, защитил диссертацию, работает всюю... Обстоятельства м-могут ломать человека, но ведь на то ч-человек, что он обязан быть сильнее обстоятельств, к-как бы ему трудно ни было... Н-нюни распускать не надо... У каждого человека, даже в последнюю минуту перед гибелью, – я фронт имею в виду, когда п-положение безвыходное бывало, – в-все равно есть шанс спасти себя. Не ш-шкуру, конечно, шкуру спасти легко... Я б-беру, как говорят, комплекс: душу и тело...

– А меня в Москве пропишут, когда я выйду из колонии?

Садчиков усмехнулся:

– Как это у Гоголя? «Хорошо б, Пал Иваныч, беседки вдоль дороги из Петербурга в Москву построить и чтобы купцы разным мелким товаром торговали». Вот ведь приучили нас

перспективные планы строить... Т-ты думай об эк-кзаменах и как Читу узнать... Ладно, иди. И н-нос на квинту не вешай...

Как только Ленька ушел, Садчиков позвонил в школу и спросил директора, что у Самсонова с сочинением. Директор громко кашлянул в трубку, вздохнул и осторожно ответил:

– Неплохо.

– Что, т-тройка?

– Нет, почему же... – Директор помолчал, снова осторожно покашлял и добавил: – Я склонен поставить ему высшую оценку.

И директор прочел Садчикову Ленькину приписку. Садчиков посмеялся, простился с директором и кинулся следом за парнем. Он догнал его у самого бюро пропусков.

– Лень! – окликнул он его.

Тот обернулся.

– Да...

– С-слушай, – сказал Садчиков и запнулся. Он не знал, зачем решил догонять Леньку. Ему просто очень понравилось то, что тот написал, и хотелось сказать про это. Но он понял – сейчас этого говорить нельзя, потому что он может обидеться и решить, что здесь контролируют каждый его шаг. Поэтому Садчиков сказал: – Я просто х-хотел спросить, есть ли у тебя п-папиросы. Если нет – возьми мои.

– Спасибо большое, – ответил Ленька, – только я не курю.

Через полчаса в кабинет к Садчикову зашел майор Ваню Иванович Зенберович из научно-технического отдела.

– Привет, старик, – сказал он. – Росляков просил поработать со следом машины... Помнишь, во время убийства Копытова? Там на шоссе остался небольшой следочек...

– Не таяи душу...

– Души нет, ты что – забыл?

– Аксиома.

– Ну, – усмехнулся Зенберович.

– Ближе к д-делу, Ваню.

– Я всегда близок к делу...

– В данном случае ты «забалтываешь» истину.

– Воспринимаю как оскорбление...

– Н-ну извини.

– Ничего, важно, чтоб человек был хороший... Так вот, след принадлежит «москвичу»-пикапу. Левый передний скат у «москвича» почти целиком сожран, развал дрянной. Правый скат совершенно новый. Вот, в таком разрезе.

– Спас-сибо.

– Не на чем.

– ОРУДу теперь будет легче?

– ОРУДу, старик, всегда легко... ОРУД – не МУР. Будь здоров.

– Спасибо тебе, Ваню...

Готовятся к встрече

Проход позвонил Сударю рано утром. Чита еще спал. Он вчера поругался с Надей, приревновав ее к грузинским спортсменам, которые сидели за соседним столиком в ресторане, и поэтому приехал ночевать к Сударю, а не к ней. Домой он не ходил и о том времени, когда домой все-таки придется вернуться, старался не думать. Да и потом, Сударь говорил о таком деле, которое даст сразу много денег и позволит уехать из Москвы на полгода, а то и на год –

в Ялту, Гагру, к черту и дьяволу. А о том, что после этого веселого полугода домой все-таки придется возвращаться, он боялся даже и подумать... Жить и ни о чем не заботиться – только одного этого ему сейчас и хотелось.

– Сань, – сказал Прохор, – ты это... ты сегодня меня увидь. У меня все уже выяснилось с тем, про чего я говорил тогда, помнишь?

– Помню.

– Где увидимся-то?

– А где ты хочешь?

– Ты свое предложи, Сань...

– Давай в центре. Около Пушкина.

– Нет. Я в центр не хожу, Сань. Там народу много. Я по-хорошему люблю, чтоб ты и я. Давай у вокзала, ладно? У Курского. Мне туда ехать на метро просто, без пересадок. А?

– Что, у Курского народу меньше? – спросил Сударь. – Тоже мне, нашел пустыню...

– Там народу вовсе нет, – ответил Прохор. – Ты чего говоришь, Сань, ты ж умный! Там не народ, там пассажиры, а они ездят, пассажиры-то, они на одном месте не живут. Ты часам к девяти подходи на площадь, я тебя отыщу. Ладно?.. Договорились? Не забудешь? У касс. Лады? Ну, пока, Сань.

– Пока.

– Э, Сань, погоди. Ты это... ты приятеля своего возьми, я на него посмотреть хочу.

– Ладно, – ответил Сударь, – возьму.

Разбудив Читу, он сказал:

– Мы с тобой сегодня в одно место пойдем. Познакомлю тебя с человеком. Он хитрый как змея, так что ты не вздумай ему сказать про того шмака, который с нами был в кассе.

– Про кого?

– Ну, про того парня, которого я взял в кассу. Про мальчишку этого...

– А что такого?

– А то, что водку жрать нельзя перед делом! Хорошо, если он смылся, а ну как его поймали? Начнут мотать... А вдруг мы с тобой что-нибудь ляпнули ему? Я вроде ничего не говорил, а ты ведь трепач, особенно когда банку примешь.

– Я молчал.

– Ты и молча умеешь трепаться.

– Сам больно хороший.

Сударь легонько стукнул Читу по щеке и вздохнул.

– Вставай, – сказал он, – пойдем жрать. У меня с похмелюги башка трещит.

– Куда? В «Москву»?

Сударь подумал с минуту, а потом ответил:

– Не-е. Я в центр не хожу. Там народу много. Поехали в Парк культуры. Чайки летают, мамыши одинокие с деточками прогуливаются.

– В парк – так в парк...

– Слышь, а Надька с тобой в кабак пошла, мне ногу жала, а уехала с тем парнем.

– С каким?

– Ну, с черным с этим, который ее танцевать клеил...

– Она одна ушла.

– Киря... Он ее за углом в такси ждал.

– Точно?

– Точно.

– Вот паскуда...

– То-то и оно...

Чита стал одеваться. Он натянул носки и майку; прыгая на одной ноге, влез в брюки и только потом, помахав руками, что заменяло ему зарядку, сказал:

– Зараза. Меньше чем за ящик коньяку не прощу.

– Я б за чекушку простил, – сказал Сударь, – она ж проститутка. Скучно. Все заранее известно – как расписание поездов. Лично я влюбиться хочу. В девственницу. И чтоб любовь была – со слезами, с ревностью, чтоб пострадать можно было... А Надька твоя как животное...

– Не обижай мою подругу. У нее комната с видом на Пушкинскую площадь. А девственницы твои с родителями живут, им родители шмон учиняют, дают авторитетом... Я пистолет возьму, ладно?

– Это зачем?

– К Надьке съездим.

– Расстрелять хочешь?

– Ага. Приведу в исполнение.

– Ладно, пошли. Наган не бери, заметят – шухер будет. А Надьку лучше душиить, у ней шея толстая, под пальцем будет ерзать...

Снова ходят

Теперь Садчиков, подменивший Рослякова, который уехал на другое задание, шел вместе с Ленькой, а Костенко с оперативником фланировали параллельно с ними, только по другой стороне улицы. Они по очереди закусывали в столовой на углу проезда МХАТа и улицы Горького, а потом снова выходили в жаркий шум и бродили от проспекта Маркса до площади Маяковского.

Садчиков сказал:

– Обидно, Лень, мы с т-тобой бандитов ищем на таких хороших улицах. Одни названия чего с-стоят. Как ты думаешь, что формирует у нас бандитов?

– Не знаю.

– А ты п-подумай...

– Я думал...

– Водка, Л-леня... Пить не умеешь – глотай кефир. Ненавижу пьяниц.

– Это вы все про меня? – спросил Ленька.

– Отчасти, – улыбнулся Садчиков, – но ты еще н-начинающий алкаш.

– У меня начало оказалось концом.

– Как на торжественно-траурном заседании излагаешь, – снова улыбнулся Садчиков, – ты проще г-говори, это с-сближает. Мы ж с тобой условились... Проще из-злагай...

– Так я ж просто и говорю. В жизни больше водки не выпью.

– Ну, зарокос вслух не давай, не н-надо. Ты про себя больше ст-тарайся. Вслух – все легко. У нас одного товарища в управлении прорабатывали на с-собрании. За дело, правильно прорабатывали. А он потом вышел на трибуну – и айда себя помоями обливать. «Я, говорит, и т-такой и с-сякой, я и негодяй, я и слепец...» А потом – фьюить! «Все, говорит, о-осознал, все понял и вас, говорит, благодарю». Даже, представь себе, хлопать ему н-начали. А по-моему, он подонок. Если б он выш-шел на трибуну и минуты две просто-напросто помолчал и в глаза людям посмотрел – куда как п-правдивей это все было бы, честное слово.

Садчиков легонько подтолкнул Леньку в бок и показал ему глазами на парня, шедшего им навстречу. У парня был шрамик на лбу и половину лица занимали большие зеркальные очки.

– Нет, – сразу же ответил Ленька, – не он.

– Тише, – поморщился Садчиков, – г-головой качни, и достаточно.

Он отошел на самый край тротуара, вытянул руку по направлению к витрине магазина, мимо которой шел парень в очках, и сказал Леньке:

– Смотри, как к-красиво «Березку» отделали, а?

Ленька не понял и переспросил:

– Что?

– Красиво, говорю, в-витрину отделали, – ответил Садчиков и пошел дальше.

А оперативник, который был рядом с Костенко, заметил знак Садчикова, быстро перебежал улицу и двинулся следом за парнем в зеркальных очках и с маленьким шрамом на лбу.

Росляков вернулся в управление к девяти часам. Он объездил десять спортивных обществ и отобрал фотографии всех высоких тренеров от двадцати пяти до тридцати лет, у которых когда-либо была кожаная куртка с желтой молнией и с потертыми манжетами на рукавах. Почему-то именно эта деталь – обтрепанные манжеты, – о которой ему рассказал рыжий геолог Гипатов уже в передней, провожая, врезалась Рослякову в голову и никак не давала покоя. Ему казалось, что именно по этой детали он должен выйти на второго преступника. Споря с самим собой, он думал: «Шерлок-холмовщина заедает. Манжеты, видите ли! Еще пушинку мне надо для полноты картины. Ребята засмеют, если узнают...» Он настойчиво отвергал эту «манжетную шерлок-холмовскую версию», но она неотступно сидела у него в голове.

Впрочем, Костенко всегда спорил с теми, кто потешался над Шерлоком Холмсом.

«Это от интеллектуальной недостаточности вы на англичанина нападаете, – говорил он. – Дедуктивный метод в ваши годы не проходили, его, наверное, считали буржуазным и идеалистическим... А мозг тренировать надо... И Конан Дойль именно к этому призывал своих читателей... И потом это благородно-отважный сыщик... Шерлоку Холмсу даже памятник стоит в Лондоне. А у нас про майора Пронина рассказывают анекдоты; и если милиционеру нужен свидетель, бегут люди, как лани... Конан Дойль был логик; это качество не столько врожденное, сколько приобретенное, в нашей работе необходимое, а мы от него как черт от ладана...»

Росляков спустился к дежурному и спросил:

– От Садчикова нет ничего?

Дежурный ответил:

– Молчит.

– Может быть, мне туда подключиться? – сказал Росляков.

– Пожалуй, лучше вам быть здесь.

– Пожалуй, – согласился Росляков, – я пойду перекушу на полчаса, ладно?

– Валяйте...

– Если оттуда позвонят – я в буфете.

Ленька спросил:

– Может быть, немного посидим?

– Это ночью, – ответил Садчиков.

– Ноги отваливаются.

Садчиков остановился и сказал:

– А ну, п-покажи! Никогда не видел, как н-ноги отваливаются.

Ленька улыбнулся.

– Знаете, – сказал он, – я хотел у вас попросить совета.

– Это можно.

– Что мне делать?

– Смотреть по сторонам, – ответил Садчиков.

– Я не о сегодняшнем дне.

– Ах так... Ну что ж... По-моему, надо хорошо сдать эк-кзамены – и сразу на завод. Чтоб до суда тебя р-рабочие успели узнать, понимаешь?

– А судить все равно будут?

– Почему «все равно»?
– Ну, потому что я с вами хожу, помогаю...
– Так ты уходи. Милый мой, если т-ты только для суда нам помогаешь, тогда т-топай домой.

– Я хожу с вами не для суда!
– Ну извини, з-значит, я тебя не так понял.
– Просто я думал, что судят преступников, а настоящий преступник никогда не будет помогать искать вам своего сообщника.

– Милый мой, ты не п-представляешь себе, как ты не прав. И попросил я тебя помочь просто потому, что думаю о т-тебе неплохо, понимаешь? И потом стихи у тебя хор-рошие. Больше ничего не написал?

– Нет.

Садчиков показал глазами на парня, который шел с забинтованным лбом. Ленька отрицательно покачал головой.

– Напишешь, – закурив, пообещал Садчиков. – Я отчего-то верю, что ты много напишешь.

– Когда на заводе писать? Там надо успевать поворачиваться.

– Ты знаешь, что такое им-мпульс? – спросил Садчиков.

– Знаю.

– Так где у тебя будет больше импульсов для т-творчества – на заводе, когда надо только успевать поворачиваться, или в полном спокойствии, дома, когда все тихо и птички щ-щебечут?

– Не знаю.

– А я знаю. Вот у меня когда б-башка особенно здорово соображает? Когда все решают минуты, когда очень т-трудно, когда надо принять только одно решение и оно должно быть точным. А если у меня много времени, оп-пасности никакой, так я тюфяк тюфяком. Что смеешься? Я верно говорю. У п-поэтов так же.

– У поэтов иначе.

– Не может быть.

– Может быть. Думать надо много, чтобы образ родился.

– Дома холодно д-думать, уж больно все со стороны выйдет.

– Нет. Сердце – оно и на заводе и дома одинаковое.

– Разное, – возразил Садчиков. – Завод – он т-только называется так холодно, а ведь это люди. Завод – это я условно говорю. Иди д-дома строй, коров дои, письма разноси, трубы чисти. Надо, чтобы ты людям не только про себя одного г-говорил, но и про них тоже. Ты смотри, кто о себе память оставил? Достоевский, Пушкин, Лермонтов. А как их ж-жизнь ломала! Тот и оно. Им-мпульсы – великая штука. Если ты в сплошной р-розовости живешь – какой ты, к черту, поэт? Так, демагог, да и только.

– Сами говорили, что мои стихи нравятся...

– Говорил.

– Значит, обманывали?

– Чего мне тебя обманывать? Просто ты раньше жил тем, что у тебя было дома. Вот и все. Плохо было, ты и п-писал, чтобы боль внутри не лежала. Скажи, не так?

Ленька изумленно посмотрел на Садчикова и ничего ему не ответил.

Около ресторана «Баку» Садчикова догнал оперативник из пятидесятого и негромко сказал:

– Проверили мы того. Он из цирка, наездник. Очень нервничал.

– Извинились перед ним?

– Крикливый, черт. Дежурный хотел на него протокол за хулиганство накатать.

– Еще чего! – рассердился Садчиков. – Объяснить н-надо человеку, а не протокол писать. Тоже к-каратели нашлись. Телефон у него есть?

– Да.

– Ладно, я п-потом сам позвоню ему, объяснюсь. А то неловко, да и т-трепотня по цирку пойдет о милицейских грубиянах. Ты цирк любишь? – спросил Садчиков Леньку.

– Люблю.

– Я тоже, особенно в-воздушных гимнастов.

– А я – икарийские игры.

– Губу покажи, – попросил Садчиков.

Ленька доверчиво выпятил нижнюю губу.

– Ну, из-звини, – сказал Садчиков. – Губа у тебя не дура.

Встретились

Проход обнял Сударя, долго тряс руку Читы и, заглядывая ему в глаза, спрашивал:

– Ну как, дорогой? Ну как? Экий ты парень видный; девки небось мрут, да, Сань? Или неверно я говорю? Старый стал, голова хуже варит, могу и ошибиться...

Проход был невысок, безлик и казался с первого взгляда серым и словно бы пыльным. Он опирался на палку и шел медленно, приволакивая негнушущую ногу. Говорил он быстро, без умолку, изредка похохатывая и все время заглядывая в глаза то Сударю, то Чите. Смотрел как-то по-особому: замирая и напрягшись. Шея у него при этом стягивалась синими веревками жил.

– Водку пьете, чертенята? – спрашивал он. – С девками небось балуетесь, а? Я старик, мне-то завидно. Нашли б какую кралю, золотенькие мои, а? Читушка, что молчишь? Не нравлюсь я тебе, да? Ты вона какой модный, а я – как деревня, да? Смущенье тебя берет, да? Ну ладно, ладно, ты иди, а я с Санечкой поговорю. Ты иди, не думай, ты понравился мне, лицо у тебя доброе, ты гуляй сегодня, сегодня липа цветет, от нее голова туманится, Читушка.

Чита недоуменно посмотрел на Сударя и с трудом сдержался, чтобы не засмеяться. Сударь шел нахмурившись и, когда увидел прыгающую от еле сдерживаемого смеха Читину морду, раздул ноздри и бешено повел глазами.

– Гуляй отсюда, – сказал он негромко, – кира. Слышал, что говорят, или нет?

– Пушай он у тебя поспит, – сказал Проход, – отдохнуть вам, ребятки, надо. Ты сегодня, Читушка, к девкам не ходи, ладно? Завтра к девкам пойдешь, Читушка, завтра.

– Чего ты обо мне печешься? – спросил Чита. – Сам не маленький.

– А ты мне «ты» не говори, – сказал Проход улыбочиво, – ты мне «вы» должен говорить.

– Это почему?

– Потому что я умный, а ты молодой.

– На` ключи, – сказал Сударь, – иди домой, я скоро буду. Разговор есть.

Чита бросил ключи в карман, остановил такси, сел рядом с шофером и сказал:

– Поехали домой, шеф.

– Адрес какой?

Чита секунду колебался: куда ехать? Домой к Надьке или все-таки к Сударю? Подумав, он решил ехать к Сударю. Он решил так потому, что спать одному страшно, а Надька, стерва, наверное, с тем парнем. С Сударем не страшно, он сильный как бык, ему все до лампочки. Счастливый человек.

– Сань, ты только слушай, что я говорю-то, я ведь дело тебе говорю, как брату, – честно, от всей души. Ты только сам посуди: он один живет, профессор этот. Гальяновский Иван Семенович. На стенах у него – картины и иконы. Картины – дерьмо, одни бабы в черных платьях.

В них ценность только одна, что старые они. Ну и иконки – тоже старинные. Ты бритвочкой картинки-то жик, жик – в трубочку и в чемоданчик, а иконки – в другой. Внизу Витька, ему в кузовочек забросил и прямым ходом к музыканту. А у того ничего не бери, только скрыпочку возьми. Она старенькая тоже, скрыпочка-то. Вишь, до чего людишки додумались: старье в вещах ценят, а в человеках – отнюдь нет. А чтоб потом мусора не думали чего – ты пару костюмчиков, часики там, цапки золотенькие хап – в третий чемоданчик. Профессор-то этот самый, хирург, он один живет. Жена у него померла, а детей нет. И скрыпач тоже один, его жена песни поет, сейчас улетела она за границу, за океан. Ты его тоже молоточком. Чтоб без свидетелей. Тебе иначе нельзя: милиционер на тебе висит, так или иначе – вышка, если заметут. А так – дверку замкнул тихонечко да и ушел. Недельку трупики полежат, а нынче жара стоит – пусть они, мусора-то, ищут следов. Там вонь будет, следов не будет, Санечка. Я все на ихних учебниках проверил, на криминалистических.

– Сколько это в деньгах?

– Ты чего, капиталист, что ль? – засмеялся Прохор и оглянулся. – Прямо как буржуй проклятый начал говорить.

Они сидели на лавочке в сквере. Вокруг было пусто; быстро, по-весеннему, темнело, женщины с детьми уже разошлись по домам, а влюбленные еще не успели сюда прийти.

– Я серьезно, Прохор.

– Да и я не шуткую. Пять косых получишь. Пять косых, Сань.

– По-старому, пятьдесят?

– Ага.

– А Чите?

– Ты чего это? Сдурел? Чите... На двоих пять. Деньги-то огромные, Сань.

– Думаешь, я полный дурак, Прохор? Думаешь, я цену старым картинкам не понимаю?

Не туда стреляешь, дедуля. Десять косых – и без разговоров. Вот так-то, Прохор.

– Миленький, ты со мной так не говори. Не надо, Сань, я ведь встал да и ушел. И весь разговор. Марафет ты, может, в другом месте и найдешь, а меня-то – нет, не найдешь ведь, Сань. Я тебя завсегда разыщу. Не-е, ты не думай, я не грожуся, спаси бог, я добрый, мне чего? Мне ничего и не надо, я старый. Я свое отжил, а вот тебе пожить надо. Я про что толкую? Про то, что пока можешь жить – живи, а смерть придет, голову прячь и вой! Только ее тоже обмануть можно, если с умом. Семь косых я тебе даю. И десять грамм марафета. И больше ты меня не торгуй, все одно не заторгуешь, Санечка.

– А марафет-то здесь?

– Завтра перед делом получишь. Все сполна принесу, как в аптеке...

– Давай адреса.

– Чего их давать-то? Их не давать, их запоминать надо.

– Ладно. Запомню. Теперь с Витькой. Машины у нас не будет.

– Это почему?

– Запсиховал он.

– А чего, Сань? Причина-то есть какая? Может, не поблагодарил ты его, а? Ты честно мне скажи, а то темно мне будет разбираться, я ведь должен по закону разобраться, чтоб без обид. Может, обделил ты его, а? Он ведь обидчивый, Сань...

– Он свою долю получил, я не крохобор.

– Да господи, рази я говорю что? Просто интересуюся.

– Не знаю, что с ним. Говорит – завязал.

– А ты с ним беседу имел?

– Я ж говорю – псих. Ногти грызет, ни в какую не соглашается...

– Ну ладно, ладно, ты не сердись на него. Сердце людское разную печаль вмещает. Я с ним поговорю, с Витькой-то, он ведь парень душевный, а, Сань? Да? Или не прав я?

– Въедливый ты, просто сил нет. «Душевный, душевный!»! Адрес дать?

– Да я знаю, Сань. Я все знаю, милай ты мой. До ноготка все знаю. Ты завтра дома сиди и жди. Я позвоню тебе. Поговорю с Витькой и позвоню. А если не позвоню, ты к Курскому подъедь. Теперь смотри: вот чемоданчик, в нем для мастера-электрика весь инструмент. Ты с им и пойдешь. Сразу с дальней комнаты у профессора начинай, чтобы убедиться, один он или кто есть. Если один, ты его попроси фонарик принести, он отвернется, а ты его – по темечку. Чита пушай на лестнице стоит. А как стукнешь, егопусти, и шуруйте. Понял? Не торопись, шторы занавесьте – и айда... Только ты трупик сначала в ванну спрячь, чтоб Читу попусту не нервозить...

– Ты меня не учи.

– Не сердись, Сань, ты чего? Я ж от сердца, Санечка, ты не думай. И вот еще возьми. Для Читы. Наганчик. Он пригодится. Хороший наганчик, вороненый, руку холодит, вчера по случаю достал... Пять патронов я в барабан загнал, больше-то и не надо, да, Сань?

Сударь ушел первым, а Прохор сидел и улыбался. Если все пройдет так, как он задумал, тогда сорок тысяч рублей он получит завтра вечером на привокзальной площади от человека, который будет его ждать в машине с желтым номером. Коллекция итальянских картин эпохи Раннего Возрождения, принадлежащая профессору Гальяновскому, завещанная им в дар Эрмитажу, оценивалась в пятьдесят тысяч золотых рублей. Профессор собирал ее всю жизнь – долгие шестьдесят лет, отказывая себе подчас в самом необходимом. Все три Государственные премии, гонорары за свои труды он отдавал коллекционированию. Коллекция у него была редкостная, изумительная, и знали об этом многие люди и у нас в стране, и за ее рубежами.

Скрипка, которая хранилась в доме у известного советского музыканта, принадлежала ему давно. Она была подарена ему еще до войны правительством. Оценивалась она в тридцать тысяч золотом.

Да в конце-то концов, черт с ними, с рублями, со скрипками и коллекциями! Завтра вечером должны были погибнуть от руки Сударя два великих гражданина: гений операций на сердце и скрипач, известный всему миру.

А придумал эти два преступления маленький, серый человек по имени Прохор. О нем Сударь почти ничего не знал. Не знал он ни его фамилии, ни места жительства, ни занятий – ничего он не знал о Прохоре – контрразведчике из власовской охраны. Прохор сумел скрыть многое, и поэтому он был репрессирован как рядовой власовец. В пятьдесят девятом году его освободили по состоянию здоровья. Ловко сыграв на доверчивости врачей, он уехал из Коми АССР сначала в Ярославскую область, а потом перебрался под Москву, в Тарасовку. Здесь он снял комнату у вдовы, которая жила с двумя маленькими детьми, и зажил тихо, незаметно и скромно. Прохор приглядывался, выжидал, думал. Он провел несколько удачных операций, но понял, что крупное дело одному ему не поднять. Встретился с Сударем. Убил с ним Копытова, завладел оружием. И завтра решил сыграть ва-банк. Вот только Витька. Шофер, хороший паренек. Задурил. Ай-яй-яй! Он адрес-то знает. Подвозил ночью, после милиционера. Ночь – она, конечно, ночь, да Тарасовка тоже не тайна. Фары тогда табличку осветили. Табличка желтенькая, а буквочки на ней черные, резкие. А память у молодых светлая, в ней все точно и зримо откладывается. Витька, Витька, ты чего ж запсиховал, а, Витьк?

Прохор поднялся и пошел к вокзалам. Шел он, совсем и не прихрамывая, а палку держал в руке вроде зонтика. Шел он не сутулясь и не казался сейчас таким маленьким и забитым, как десять минут назад, пока рядом сидел Сударь. Попадутся мальчики – про палку сразу стукнут. А палки-то и нет; вон решетка канализационная, туда ее и опустит... Уронил! Ай-яй-яй, какая жалость! Ищите хромого старичка! Ищите, мусора, вам деньги за это платят. Зорко ищите, еще зорче!

Никаких происшествий

В час ночи Садчиков вызвал дежурную машину и отвез Леньку домой. Улица уснула. Мокрый асфальт блестел, будто прихваченный ледком. Сильно пахло цветущими липами. Сонно моргали тупыми желтыми глазами светофоры на перекрестках и площадях. Из-за неоновых фонарей небо казалось непроглядно-темным.

Ноги у Леньки гудели. Он сидел неподвижно, не в силах пошевелиться.

– Ну и работа у вас! – сказал он Садчикову.

– Ты э-это с чего?

– Целый день на ногах – ужас!..

– Чудак, – ответил Садчиков, – разве это ужас? То, что людей в тюрьму приходится сажать, – вот у-ужас. В нашем д-деле самое страшное – это всех возненавидеть. С гадостью мы работаем, к-как настоящие ассенизаторы, п-понимаешь? А людей надо о-очень любить. Иначе к-какой смысл нам работать? В том-то и дело: нет смысла...

– А вот скажите, – запинаясь, спросил Ленька, – вам доставляет радость карать?

– Что именно к-карать?

– Ну... зло...

– Сложный вопрос... Вообще-то, наказывать людей – с-сугубо неприятно, Леня, и чревато с-серьезными последствиями для того, кто н-наказывает... Это, если относиться к наказанию серьезно, с с-состраданием к н-наказуемому, ибо, хочешь того или не хочешь, а он – брат мой. Хоть и враг... Человек он, понимаешь, человек ведь – наказуемый-то... К-караемый, как ты г-говоришь. Страшно, если наказывать станет привычкой... Страш-шно, если каждого станешь подозревать... Один наш товарищ, когда его приглашали в гости, заранее интерес-совался, кто там еще будет... Д-данные на остальных г-гостей запрашивал... Но, с другой стороны, когда задержишь бандита, испытываешь спокойствие, что ли, по отношению к с-согражданам...

– Вы ненавидите бандита?

– Н-не всегда...

– То есть? – удивился Ленька.

– После войны я брал нескольких б-бандитов, которые выходили с обрезам на дорогу, п-потому что у них дети с голоду пухли... Все п-понимал: и что с обрезом за едой идти – не путь, и что воровство – это з-зло, а все равно внутри жалел... Но это уже п-после того, как посадил в тюрьму... Когда брал – тогда н-ненавидел.

Высадив Леньку, Садчиков сказал шоферу:

– Поехали в у-управление, Михалыч.

До трех часов они разрабатывали данные о тренерах, добытые Росляковым, и составляли план на завтра.

Садчиков должен пойти по всем высоким тренерам, у которых есть кожанки, обращая внимание, в частности, на обтрепанные манжеты, а Костенко с Росляковым снова выйдут на улицу. Ровно в восемь, к открытию гастрономов. У Читы вся стена заставлена бутылками – такие с утра пить начинают.

Засада, оставленная на квартире у Читы, сообщала, что никаких происшествий за день не произошло. Три раза звонили женщины. Им отвечали, что они ошиблись номером.

Четвертые сутки

Рано утром в кабинет Садчикова позвонили по телефону и попросили Костенко.

– Я говорю, – ответил Костенко.

– Здравствуйте, это Шрезель.

– Кто?

– Ну вы были у меня, помните? Был разговор о Назаренко и о Ламброзо...

– А... Доброе утро, здравствуйте...

– Я тут встретил одного нашего приятеля, он учился на курс ниже, так он месяц назад видел Назаренко с девушкой. Толстенькая такая. Он их встретил на улице Горького, около Елисеевского. Кот звал его в гости, и приятель записал адрес.

– Кто? Кто звал в гости?

– Назаренко. Мы его звали Котом...

– Вы просто Вольф Мессинг. Давайте адрес!

– Он записал адрес на папиросной пачке и потом потерял. Но он помнит, что девушку звали Надя, а живет она на Пушкинской площади.

Костенко закурил:

– Он это помнит точно?

– Говорит, что да.

– Спасибо вам, Владимир Маркович.

– Какая ерунда...

– Большое вам спасибо, – повторил Костенко и, положив трубку, спросил Садчикова: – Пушкинская площадь принадлежит пятидесятому отделению?

– Да.

– Надо с ними немедленно связываться...

– А в чем д-дело?

– Там Читина зазноба живет. Надо будет всех девиц по имени Надежда просмотреть.

Шрезель звонил, говорит, что он там с ней появлялся. В гости, говорит, к ней приглашал... Адрес дал – на Пушкинской...

Садчиков сказал:

– Интересно.

– Значит, тренеры на сегодня отменяются?

– Почему же, сейчас пойдем к к-комиссару. Нам еще один человек нужен. А вы пока отправляйтесь на улицу Горького. И поближе к Пушкинской держитесь, п-поближе.

Ленька ждал их около памятника Пушкину. Он стоял, задрал голову, смотрел на бронзового поэта и что-то шептал.

Росляков подтолкнул Костенко и показал на парня глазами.

– Да, – сказал Костенко, – славный парень. Выцарапаем. Я думаю, все же выцарапаем.

– А я боюсь – нет...

– Почему?

– Сейчас у нас, Слава, волна... Волна против пьянства как источника преступности.

– Отобьем, – повторил Костенко, – подеремся...

– Салют поэтам! – сказал Росляков.

Вздвогнув, Ленька обернулся.

– Здравствуйте, – ответил он, – я сегодня еле поднялся.

– Устал? – спросил Костенко.

– Устал.

– Ничего. Сейчас разоვნемся. Ты иди с Валентином Ивановичем, а я по той сторонке. Там сейчас тень, я хитрый.

Готовятся

Сударь умылся, долго, закрыв глаза, брился электробритвой и, расхаживая по комнате в трусах, говорил Чите:

– Мы с тобой получаем семь косых – по-старому. Делим по-джентльменски: тебе половину и мне половину. Прохор позвонит часа в два, после разговора с Витькой. Сразу после этого мы поедем к бабушке-профессору любоваться живописью.

– А что с Витькой?

– Полегче вопрос есть?

– Есть. Водку купить или коньяку?

– Ни того ни другого. После. Прохор говорит, что по пьянке обязательно влипнем. Он говорит, что надо только по-трезвому на дело идти. Вообще-то, он прав, алкоголь в серьезном деле не помощник...

– Он трехнутый, этот твой Прохор.

– Не «мой». Наш.

– Ничего себе «наш»... Он косых на десять нас с тобой дурит, не меньше. Разве нет? Живопись сейчас в цене...

– Знаю. А как быть иначе? Кому мы эту старинную живопись толкнем? Связей-то нет... Или возьми иконки... Их фарцовщики около Третьяковской галереи на газовые зажигалки у американцев меняли. Толку что? Зажигалка – не деньги...

– Толку никакого, а за квартиру я уже два месяца не платил. Боюсь туда идти.

– Почему?

– Не знаю.

– Киря... Беги сейчас, уплати, делов на два часа. Может, сегодня деньги получим от старика и двинем к «самому синему в мире».

– Надьку возьмем?

– Ни к чему это. Там бабы есть похлестче. Роскошные по пляжам кадры ходят...

– На поезде поедем?

– Зачем? ТУ-104 есть в Советском Союзе.

– Боюсь я летать...

– Не бойся... На машинах больше бьются...

– Слушай, а у профессора никого дома нет, это точно?

– Конечно точно. Я туда поднимусь один, а ты следом – через десять минут. Три раза стукнешь и скажешь: «С Мосэнерго». Я тебе открою. Если кто-нибудь будет на площадке – пройди мимо, будто ищешь квартиру, понял?

– Да. Только если в квартире кто-нибудь есть, не ходи. Мокрое дело – расстрел.

– Что ты говоришь? А я думал – два года условно. Между прочим, почему ты боишься идти домой? Может, трепанул кому-нибудь? У тебя язык без костей... Лучше мне правду скажи – трепанул?

– Я не идиот.

– Ты кирия, а не идиот, это точно... Давай поднимайся, жрать будем.

Хорошее имя

К двенадцати часам дня у Садчикова на столе были адреса сорока двух Надежд с Пушкинской площади. Тридцать две отпали сразу же: это были женщины далеко не первой моло-

дости, матери семейств и бабушки. Потом отпало еще пять Надежд – девочки до пятнадцати лет. Осталось пять девушек, которых надлежало проверить в течение ближайшего часа. Садчиков вызвал машину, чтобы ехать в пятидесятое отделение милиции. Собираясь, он думал о том, как сейчас мало девочек с таким прекрасным именем – Надежда. Раньше тридцать две на дом, а теперь десять.

Надо бы позвонить Гале. Все милицейские герои в кино звонят домой, а жены спрашивают, что они ели за завтраком. Галка сейчас мне выдаст: почему не позвонил вчера? А она уже спала в два часа. У нее вчера опять было дежурство, а она с вечерних дежурств приходит выжатая как лимон. И спит до десяти. А сейчас двенадцать. Надо было позвонить два часа назад, а я сидел в отделении. В кабинете полно народу. Галка начала бы меня пытаться, что случилось, а мне было бы неудобно ей отвечать при всех, потому что я должен врать, а это со стороны смешно. Странный народ женщины. Из ребра сотворены как-никак. Ребро не череп. Ни черта не хотят понимать, а объяснять – унижительно для самого себя. Когда женишься, думаешь, что на самой умной. Все поймет, всегда поможет. Грех мне, конечно, на Галку сердиться, но иногда и она такое колено загнет, что потом неделю не опомнишься.

Садчиков вздохнул и набрал номер своего домашнего телефона. Голос у Галины Васильевны был усталый и тихий.

- Галка, – сказал Садчиков как можно веселее, – привет! Ну, что ты? К-как дела?
 - Изумительно! – коротко ответила Галина Васильевна и замолчала.
 - Что ты молчишь?
 - Мне надо петь? Или станцевать у телефона? Неужели ты не мог позвонить вчера?
 - Я поздно освободился и не хотел тебя будить.
 - Я ведь тоже человек.
 - Догадываюсь.
 - Сегодня тебя ждать?
 - Я позвоню.
 - Завтра днем?
 - Ч-что ты, Г-галочка?! Может быть, и сегодня...
 - До свидания, – сказала она, – всего тебе хорошего.
- Садчиков в сердцах швырнул трубку на рычаг и вышел из комнаты, хлопнув дверью.

Надежда Мамонова

– Эх, милый ты мой начальник, – сказала бабка певуче, – Бог, он все видит, все прегрешенья людские и все людские доблести.

– Конечно, – согласился Садчиков и утвердительно покачал головой, – это вы, бабуся, верно говорите. А Надя когда придет?

– Она всегда тут, – сказала бабка и тронула себя где-то около ключицы.

– В сердце? – спросил Садчиков.

– В нем, – убежденно ответила бабка и вытерла слезу, которая то и дело закипала у нее в левом глазу. Садчиков понял, что бабка перенесла инсульт, от этого у нее так часто собирается слеза в уголке глаза.

– Ну а здоровье как у вас?

– Нет теперь на земле здоровья, – сказала бабка. – Вон у моей мамыши нас тринадцать человек было, а у Лешки-то, у сына мово, – одна Надюшка. Мужик с виду сильный, а на большее не вытянул, как на одну девку. Четверых у меня на войне убило, а Лешка самый младшенький, ему пятьдесят три, выжил. А лучше б и не выживал. Куском хлеба старуху корит, с дома гонит. «Теперь, говорит, все работают, давай, говорит, мама, и ты вкальвай». А Надюшка, дай ей Господь наш Всевышний, ангел. Кто меня кормит, поит и обучает? Кто меня на земле

держит? Надька. Труженица девка. Днем в магазине, вечером в техникуме, а ночью у корыта да на кухне. Так вот я тебя и спрашиваю, сыночек, есть Бог на земле или нет?

– На земле нет, а в н-небе – наверное.

– Сам-то крещеный?

– Не знаю.

– Как же ты не знаешь, сынок, а? Это дело все знают!

– Я сирота, м-мамаша, меня в приют подкинули.

– Ах ты, горемыка! – запричитала бабка. – А гляди, обратно, Боженька. Вон ты какой долдон с его милости вымахал. Верста верстой. Раньше такие в лейб-гвардии его величества государя императора служили. Мой дед в гусарах был, в ампериалистическую его положили. Два метра росту имел. Как столб. Надька в его пошла. Красавица, рослая, не то что пигалицы сейчас ходят, безо всякого женского достоинства. Грудей нет, чем детей-то кормить будут? С пальца не пососешь, а у нынешних не цicka, а кукиш...

– А к-карточки Нади есть?

– Есть, миленький, есть. Вона, в альбомчике, на комодке стоят.

Управдом взял альбом и передал его Садчикову. Надежда Мамонова строго глянула на Садчикова. Глаза у нее были маленькие. Рядом с ней стоял парень в форме летчика.

– Жених? – спросил Садчиков.

– Жених, – вздохнула бабка, – тут в переулке жил.

– Ничего парень?

– Да ничего так... Щупленький только. Ручищи длинные, а худые, как твои плетки. В плечах тоже неширокий, щупленький. Я Надьке-то говорю: щуплый – он и есть щуплый...

– Бабуся, – спросил Садчиков, – а Костя д-давно не ходил?

– Давно.

– Поругались?

– Да нет... Он же теперь в Белоруссии служит.

– Жених?

– Ну да. Костька его зовут.

– Нет, я про того Костьку с-спрашиваю, про черненького, со шрамом на лбу, Назаренко его фамилия.

– Ты, сынок, на Надежду напраслину не возводи. Она себя соблюдает, не то что некоторые.

Садчиков распрощался с бабкой и, выйдя от нее, позвонил в отделение.

– Пожалуйста, пошлите кого-нибудь из о-оперативников в продмаг номер сто пятьдесят два, на углу... Да, да, там... Вызовите Надю Мамонову и поспрашивайте ее о Назаренко. Может, с-слыхала. Да. Я позвоню через полчаса. До свидания.

Надежда Сергеева

Дверь открыл рослый парень, выбритый до синевы, в черном спортивном костюме. Садчиков поджался: чуть подсказало ему, что он нашел именно то, что искал.

– Из райжилотдела, – бросил он и обернулся к управдому. – Ну, показывайте, где здесь менять перекрытия.

Управдом быстро взглянул на Садчикова и все понял. Военный в прошлом, он сразу же сориентировался в обстановке и вошел в квартиру первым.

– Где ответственные съемщики? – спросил управдом парня.

– Надя, – крикнул тот, – к тебе пришли!

Надя вышла из ванной в халатике, босиком. Она лениво оглядела пришедших и спросила, зевнув:

– В чем дело?

Лицо у нее было помятое, с синяками под глазами, чуть оплывшее, но все же очень милое.

– Тут у вас перекрытия подгнили, – сказал управдом, – нам надо посмотреть полы. В комнаты войти можно?

– Идите, – ответила Надя.

Садчиков долго простучивал пол в передней, поглядывая при этом на обувь, стоявшую под вешалкой. Потом он вошел в комнату, увидел неприбранную кровать, остатки еды на столе, порожнюю бутылку «Букета Абхазии» и пепельницу, полную окурков.

– Вторую к-комнату откройте, – попросил он.

– Она открыта, – ответила Надя, – там сестра живет.

Во второй комнате никого не было. Потом Садчиков зашел в ванную комнату и на кухню. Там тоже было пусто. Он вернулся в комнату, улыбнулся, погрозил Наде пальцем и сказал:

– В-вот я вас хорошо п-помню, а вы меня забыли.

– Откуда же вы меня помните?

– А н-нас Костя знакомил.

– Где?

– Д-да здесь, около киоска.

– Может быть, – ответила Надя и пояснила парню: – Чего смотришь, это муж, Костя, он в ресторане сидел, помнишь?

– Назаренко, – подсказал Садчиков.

– Ну да, – повторила Надя. – Кот.

– В-вы еще долго будете д-дома? – спросил Садчиков. – Мы водопроводчика должны прислать...

– Ломать?

– Нет, – сказал управдом, – текущая профилактика, ничего не потревожим...

– Часа два еще пробудем, – посмотрев на своего приятеля, ответила Надя, – да, Сережа?

– Конечно.

– А тебе когда на стадион? Не опоздаешь?

– Нет, дорогая, – ответил парень, – не опоздаю...

– А К-кот где? – спросил Садчиков. – О-обещал позвонить – и пропал.

– Мы с ним поссорились, – ответила Надя, повернувшись к Сереже спиной, и сморщила лицо. Осторожно подмигнула Садчикову и выдохнула: – Разводиться будем.

– Ж-жаль, – сказал Садчиков, – он ведь хороший п-парень. Нужен он м-мне сейчас. Где найти – у-ума не приложу. Если он придет, то пусть сразу ко мне позвонит, ладно?

– Телефон знает?

– А я з-зайду через часок и оставлю.

Телефон-автомат был установлен в подъезде, так что Садчиков, быстро набрав номер милиции, мог видеть всех, кто пройдет мимо.

– Алло, – сказал он тихо, прикрыв рот ладонью, – это С-садчиков. Быстро машину с людьми ко мне на Пушкинскую. Возьмите ордер на обыск у п-прокурора. Да. Я в подъезде.

Садчиков вопросительно посмотрел на домоуправа.

– В четвертом, – подсказал тот, – въезд со двора.

– Четвертый, – повторил Садчиков, – въезд со д-двора. Жду.

Близко к развязке

Они ходили по улице Горького пятый час кряду.

– Леня, – сказал Росляков, – ты просто молодчина. Откуда ты только знаешь так много стихов? Неужели по школе?

– У нас Лев преподает с восьмого класса, он только нас ведет, мы поэтому литературу и любим... А другие классы ненавидят. Лев в учебники не заглядывает и нам не велит. Краткое содержание, язык, образ, кульминация – это же все чепуха...

– Да?

– Конечно. Читать надо побольше, тогда все будет ясно. Где образ, какое идейное содержание, в каком месте кульминация. А читают у нас ребята мало.

– Почему?

– Физика, космос. Это идет. А литература – так, времяпрепровождение. Несерьезно, говорят.

– А мы литературу любили. Смотри, как забавно: когда мы школу кончали, то почти все шли в гуманитарные вузы – на юридический, на истфак. Еще на журналистику многие пытались попасть.

– Я тоже мечтал...

– Почему «мечтал»? – спросил Костенко.

– Меня теперь туда на пушечный выстрел не подпустят.

– Да брось ты, как старуха, нудеть. Захочешь – подпустят. Важно захотеть. Это во всяком деле самое главное.

– Ты сейчас экзамены сдай, – посоветовал Костенко. – Тебе важно школу хорошо кончить...

– А я школу не люблю...

– Это почему же? – удивился Росляков.

– Я его понимаю. Школа прививает нелюбовь к литературе, – сердито буркнул Костенко. – Я Пушкина начал перечитывать уже в университете... А в школе нас мучили вопросами: «Каково социальное происхождение Татьяны Лариной?» и «Каковы главные отличительные черты „лишнего человека“?» Литература – это прекрасное, а про это именно забывают.

– Сейчас немного полегче, – сказал Ленка, – сейчас все-таки можно самому высказывать точку зрения... А раньше, говорят, надо было пересказывать, что писали в учебниках... И ничего своего... Лев Иванович ставит пятерку, если говоришь свое – пусть даже ошибаешься. А кто бубнит по учебнику, тем он больше четверки не ставит.

– Вообще школа сейчас ждет реформы, – заметил Костенко. – Кое-кто из моих друзей бранит кибернетику и счетно-вычислительные устройства, а ведь именно они будут определять будущее развитие прогресса. Через двадцать лет в седьмом классе на партах будут стоять маленькие счетные машины, ей-богу... Один мой дружок, математик, говорит, что в математике произошла революция: раньше надо было дать один ответ, в этом был смысл математики, а теперь высший смысл состоит в том, чтобы расчленив задачу на елико возможно большее количество вопросов, а потом эти вопросы засадить в счетную машину... А мы заставляем ребят зубрить формулы; мозг костенеет, инициативы нет...

– Кое-кто из твоих знакомых, – сказал Росляков, – видимо, бранит кибернетику с этической точки зрения, опасаясь ее самодовлеющего влияния на человечество...

– Потом доспорим, – вздохнул Костенко, – мой парень какие-то пассы делает, надо пойти посмотреть...

Он быстро пересек улицу Горького и спросил давешнего оперативника:

– Что случилось?

– Вспотел я, – ответил тот, – машу руками, чтоб тело проветрить...

– Большой ты человек...

– Испохабили планету, – сказал тот, – зима слякотная, весна – как в Африке, а летом дожди... Завтра вообще тридцать градусов ожидается.

– Во-во, – чертыхнулся Костенко, – а поедешь в отпуск, так калоши надо брать.

– Земля остывает, скоро все переменится. У меня дед говорит, что зима обернется летом, а весна – осенью.

– Прозорливый у тебя дед.

– Дед что надо. В наше, говорит, время не соскучишься.

– На что это он, интересно, намекает?

Оперативник ответил:

– Он без умысла, что вы...

Костенко усмехнулся, весело оглядел оперативника и подмигнул ему.

– Нет, серьезно, – повторил тот, – просто дед с фантазией.

– Какая у деда может быть фантазия? У деда сплошной реализм должен быть. Давай воды выпьем, а то горло совсем пересохло. Сволочь, не идет до сих пор...

– Кто?

– Чита, кто...

Так и ходят они по улице. Говорят о пустяках, подшучивают друг над другом, а в голове только одна мысль: где он?

Внешне они спокойны, даже несколько расслаблены. А ведь под пиджаками не видно, как напряжены у них мышцы рук и спины; посторонний не знает, как устают глаза, потому что надо все время смотреть по сторонам и искать, и не просто искать, а так, чтобы непременно найти.

Виктор Ганкин

Проходчик позвонил в гараж и попросил к телефону шофера Виктора Ганкина.

– Он сейчас на линии, – ответили ему, – позвоните через час.

– Не уйдет? Может, он вернется и сразу уйдет...

– Нет. Он до трех сегодня.

– Спасибо, – ответил Проходчик, – вы ему передайте, пожалуйста, что к нему Архип Иванович через час перезвонит, ладно?

... Через неделю после свадьбы Виктор сделал хорошего «левака»: перевез за два часа три холодильника. «Москвичок» у него с кузовом, свеженький, всего тридцать тысяч набегал. Развал, правда, дрянной, левый передний скат здорово жрет. Да черт с ним, со скатом. Тридцать рублей в кармане. Любке на платье. В Пассаже продают. Импортное, с красными цветами по сиреневому фону. Кошмар!

Женившись, он в рот не брал водки. Раньше-то пил много. И не водку, а политурку. Она дешевая, водичкой разбавишь – и ничего, пить можно. В нюх, правда, шибает. И рыгается потом плохо, прямо керосином рыгается, спички не подноси. А как Любку встретил, так перестал пить. Ребята говорят, что от политурки с мужским делом вроде плохо. А Любка девка что надо, за ней глаз да глаз. А водочки – это, пожалуй, можно. Чекушку с удачи. Она ж не политура, ее в магазине государство продает. И с закуской. В последний раз, чего там...

Орудовец, задержавший Ганкина по ерундовому поводу, не хотел даже сначала его штрафовать. А потом отправил на проверку, дуть в трубочку этого самого Раппопорта. Чтoб сдох этот Раппопорт с его трубочкой... Права отняли. И все. Разнорабочим сколько в месяц получишь? Два раза двор подметешь – и весь труд. Деньга – соответственно.

Шоферов на базе не хватало, и Ганкину выдали талон. Без прав. Зарботок – на четверть меньше, чем раньше. А подкальмить надо? В том-то и дело. Ночью договорился с диспетчером и махнул к вокзалам. Ездил, ездил – везде ОРУД, сразу схватят за баки. Поехал к гостиницам. Тоже без толку. Потом вспомнил – Останкино! Рванул туда. Остановили двое. Повез одного в

город, а другого – в Тарасовку. Адресок взял, десятку бросил. Уже другое дело. Жизнь. Хороший старичок. Архип Иваныч. Хроменький. Добрый такой, и все как попик говорит: ласково, душевно. Потом седьмого пришел. «Хочешь, – спрашивает, – сто рублей получить?» – «Дурак не хочет. Перевезти что?» – «Да нет, – говорит, – ребят надо подвезти в одно место, а потом забрать». – «Подвезем, чего не подвезти!» Пришел назавтра Сударь. Подвез его с Читущкой к скупке. Вышли оттуда, поехали в город, а вечером Архип Иваныч сотню приволок. Лучше б не приволакивал. Любка скандалит. «Откуда, – спрашивает, – деньги?» Баба, чего с нее возмешь? Ушел из дому, а старик ждет на лавочке, около дома сидит. Пошли с ним, дали как следует. Тут уж он все и выложил. «Ты, – говорит, – теперь с нами. Заодно. А чего? – говорит. – В наш век надо каждой минутой жить. Как, – говорит, – водород рванут – так все марсианам останется. Живи, гуляй, пока можно!» Сволочь старая. Потом еще два раза с ним ездил. А вернулся домой – все деньги лежат на столе, а над ними записочка: «Уехала в деревню к тете». Ну и черт с тобой! С девушками сейчас нет проблемы, только выбирай, сами напрашиваются, глазами стреляют, змеи...

Розку выбрал, в кафе «Ландыш» повел, портвейном поил, а как домой привел и до дела дошло, она морду расцарапала. Зараза! Водки выпьешь, домой придешь – и такая тоска, что пропади все пропадом! «Эх, Любка, Любка, надо было тебе со мной по-хорошему поговорить! Я б, может, остепенился. Год всего живем, чего там... Думаю, поеду к ней, упаду на колени, вернется. А как выпью – так ну ее сразу к черту! А тут письмо: так, мол, и так – у меня будет ребенок. Она сама видная, значит, и родит кого надо. Все. Завязал. Сударя побоку. Ходит, морду кривит. От него все и шло. Сегодня день короткий, возьму билет – и к ней, а в понедельник вернемся вместе. А насчет этих я и знать ничего не знаю. Они ходили, я в машине сидел. Может, они папкин пиджак продавали, поди докажи. Так Любке и скажу, если будет пилить... Чего Архип Иванычу от меня надо? Он старик хороший. Если он скажет, те отстанут. Через час, сказал, позвонит. Час – не год, подождать можно. Эх, Любка, ты ведь и не знаешь, что я к тебе завтра утром приеду. Розка – зараза, в подметки не годится. Маникюр сделала и решила, что царица. Дура мордастая, думает, что если царапается – значит в сети к себе завлечет... Черта с два... Идиоты повывелись».

Зазвонил телефон, Виктор ждал звонка в диспетчерской. Он снял трубку и сразу же услышал голос Архипа Иваныча.

- Витек, – сказал тот, – здорово! Ты чего пропал? Я уж соскучился...
- Я не пропал, Архип Иваныч. Я вот он, тут весь, это вы пропали.
- Вить, а Вить, ты сейчас подъезжай в одно местечко, ладно?
- Не поеду.
- Ты чего, Вить? Ты обиделся, может, на меня? Ты мне правду скажи...
- Ни на кого я не обиделся. Просто сказал – не приеду, и все.
- Ты погоди. Вить, ты не думай там про чего-нибудь. Я ведь один тебя прошу. На полчаса, внучек помирает, мне только в аптеку надо, к приятелю, лекарства достать, а нога у меня болит...
- Какой внучек?
- Коленька. Он маленький, ему годика еще нет. Выручи, Витенька.
- У меня только полчаса времени есть. Больше я не могу...
- Да мы обернемся, что ты... Давай я, куда скажешь, подойду.
- Ладно. У Лаврушинского. Через пять минут будете?
- Через десяток бы, Витек.
- Ладно. Только...
- Будет, будет, – заторопился Архип Иваныч, – кому надо, рублевочку посули, у меня деньги есть с собой, есть...

Допрыгались

Садчиков постучал в дверь. Открыла Надя. Вместе с Садчиковым вошли еще трое.

– Как вы быстро, – сказала Надя, – и много вас... Все водопроводчики?

– Почти все, – ответил Садчиков, – мы из уголовного р-розыска. – Он быстро прошел в комнату и сказал гладко выбритому, томному спортсмену, который лежал в постели: – Ну-ка одевайтесь, красавец-мужчина.

– А в чем дело?

– Сначала одевайтесь, п-потом объясню.

Надя стояла у двери и медленно бледнела.

– Вот ордер на обыск, – сказал Садчиков, – д-давайте мне телефон Читы.

– Но его же нет дома...

– Где он?

– Не знаю...

– Лжете.

– Может быть, у Сударя.

– Адрес?

– Мы там были поздно ночью... Я не запомнила...

– Телефон?

Она вышла в прихожую, взяла со столика записную книжку и стала ее листать. Спортсмен тихо сказал:

– Товарищ, у меня трое детей, я мастер спорта, советский человек и патриот, объясните, пожалуйста, в чем дело?

– П-при чем здесь трое детей? – удивился Садчиков. – И еще патриотизм...

– Мое имя не станет достоянием гласности? Я ведь езжу на соревнования за рубеж...

– Ваше имя обязательно станет достоянием гласности, – сказал Садчиков, – и хватит вам трясти ч-челюстью.

– Но это не политическое?

– Политическое, – ответил Садчиков.

– Боже мой, какой позор, – сказал спортсмен и обхватил голову руками, – только этого мне не хватало...

Из коридора вернулась Надя.

– Вот телефон, – сказала она.

– Звоните ему.

– Что сказать?

– Скажите, чтобы он немедленно п-приехал.

– А если откажется?

– Уговорите.

Садчиков позвал одного из сотрудников и шепнул ему на ухо:

– Быстренько установите адрес, б-берите людей – и туда.

– Есть.

– Только без глупостей, – сказал Садчиков Наде, – н-не вздумайте с ним б-беседовать о нас. С-скажите, что у вас для него есть а-американский костюм. Он же любит костюмы. С-скажите, чтобы он немедленно приезжал пос-смотреть.

Надя набрала номер. К телефону подошел Сударь.

– Здравствуй, Саша, – сказала Надя и улыбнулась Садчикову жалкой улыбкой. – Кот у тебя?

– Зачем он тебе? – ответил Сударь. – Я лучше. Как спортсмен?

- Мы с ним расстались.
- Приезжай к нам.
- Потом. Ты позови Кота.
- Сейчас, – сказал Сударь и крикнул: – Эй, кира! Тебя.
- Аллю, – сказал Чита.
- Это Надя.
- А я думал – Софи Лорен... – хохотнул Чита.
- Костя, ты можешь сейчас ко мне приехать?
- Что, надоело развлекаться с бывшим князем, а ныне трудящимся Востока?
- Не говори глупостей.

Садчиков, нагнувшись к трубке, слушал каждое слово Читы.

- У меня есть хороший костюм, Кот. Из дакрона. Очень красивый.
- С разрезом?
- Да.
- А какого цвета?
- Белый, в серую полоску.
- Сколько?
- Совсем недорого...
- Я вечером приеду.

Садчиков быстро взглянул на женщину и отрицательно покачал головой...

- Нет, – сказала она, – его через час заберут.
- Как же быть? У меня сейчас дело...
- Приезжай на пять минут, – повторила Надя то, что Садчиков сказал ей шепотом.
- Я сейчас не могу.

Садчиков снова посмотрел на женщину.

- Тогда ничего не выйдет, – сказала она. – Костюм уйдет.
- Он новый?
- Еще не одеванный.
- Подожди.

Чита сказал Сударю, который уже стоял на пороге:

- Я на полчаса к ней сгоняю, ладно?
- Не пойдет.
- Там костюм дакроновый.
- В этомходишь.
- Знаешь что?! Иди к чертовой матери! Тоже командир здесь нашелся! «Нельзя»! «Не пойдет»! Что я, тебе подчиняюсь? Тогда вообще топай сегодня один!

- Кончил?
- Да.
- Кретин. Если за полчаса не справишься – пеняй на себя.
- Санечка, я обернусь, – обрадовался Чита, – на такси туда и обратно.
- Опоздаешь ведь. Ты как баба – время ценить не умеешь... Ладно, едем – я еще раз дом посмотрю, а с Прохором увижусь, как условились. Ты будь к трем. И пистолет возьми, сюда мы не вернемся...

Чита сказал:

- Надюш... Сейчас приеду.
- Жду, – ответила Надя и, медленно положив трубку, заплакала.
- Ч-что это вы? – спросил Садчиков.
- Ничего... Просто неприятно себя чувствовать сволочью.

– В-вы сейчас поступили правильно. Д-дальше мы во всем разберемся, хочу вас только спро-осить: вы знали, когда он последний раз участвовал в грабеже?

– Что?!

– То, что слыш-шите.

– Я ничего не знала.

– Ладно. Сколько времени он сюда проедет?

– Не знаю. Минут двадцать – двадцать пять.

Пришел оперативник и, вызвав Садчикова в прихожую, сказал:

– Александр Николаевич Ромин, тридцать четвертого года рождения, по кличке Сударь, проживает вот здесь. – Он протянул листок бумаги с адресом. – В прошлом тренер.

– Хорошо, – сказал Садчиков, – берите людей из управления – и немедленно туда. Если его нет, останьтесь в засаде. Имейте в виду, там есть оружие. Мой звонок: три раза короткие, а четвертый – звоню очень долго.

– Есть, товарищ майор.

– Что со мной будет? – спросила Надя, когда Садчиков вернулся в комнату.

– Р-разберемся.

– Но я действительно ничего не знала о нем, честное слово...

– А об этом? – кивнул Садчиков на спортсмена. – Тоже ничего не знаете?

– Не-ет...

– А к-как же с ним спите?

– Мы встречаемся...

– Это у вас называется «встречаться»? – усмехнулся Садчиков.

– Врет, – сказал спортсмен, – заманила меня, проститутка. Я ее позавчера только увидел, клянусь мамой.

– Ты б пап-пой лучше клялся, – сказал Садчиков.

– Зачем оскорбляете? – спросил спортсмен. – Я спортсмен. Что мне, с женщиной общаться нельзя?

– Общаться можно, – согласился Садчиков. – Хватит разговоров. С-сидеть тихо. К-когда он поступит, молчите, мы сами откроем дверь.

– Если он на меня полезет, резать буду, – сказал спортсмен.

– Чем будешь р-резать? – поинтересовался Садчиков.

– Зубами, – ответил спортсмен, – как волк ягненка.

– Это можешь, – разрешил Садчиков, – только не до с-смерти.

Прохор действует

Прохор сидел рядом с Витькой в машине и быстро говорил:

– Ты чудной, Витек, прямо как ребенок. Ты меня слушайся, я всем вам добра хочу. Любочку зря ты обидел, она прямо как ягодка – красавица, глаз с нее не свести. Был бы помо-ложе – отбил бы, право слово, Витек...

Витька хмыкнул, потому что представил рядом с Любой старенького Архипа Ивановича.

– Чего, – словно угадав его мысли, мелко засмеялся Прохор, – думаешь, не смог бы? Милай, хорошенький, ты меня и не знаешь вовсе, и каким я красавцем был, за мной бабы табуном ходили...

Витька засмеялся. Прохор махнул рукой и укоряюще вздохнул. Закурил. Начал напевать песню тоненьким бабьим голосом.

– Ты чего меня звал, Архип Иваныч? Если б у тебя внучек серьезно заболел, ты б груст-ный был, а так песню поешь.

– Ты хитрый, Вить, ух какой хитрый! И умненький. Тебя не проведешь. Эхе-хе, старость не радость. Угадал ты, Витек. Один я как сокол. Нет у меня племяша, и внучка нет. Только вот вы и есть, вас-то я и люблю. Ты уж меня выручи, старика, Вить. В последний раз, а? Вить? Чего молчишь?

– Не буду выручать, Архип Иваныч. Завязал.

– Шнурок завязывают, Вить... Чего тебе завязывать-то? Если б ты какой бандит, спаси господи, был, а то работяга, шофер. Откуда ты знаешь, чего везешь? Попросил Архип Иваныч, ну ты и подсобил больному старику. Сударик мои вещички, три чемоданчика, на Курский отвезет – и все. Триста рябчиков я тебе сразу выкладываю.

– Не пойдет, Архип Иваныч, – сказал Витька и улыбнулся. – У меня жена рожать вздумала. Все. Завязал.

– Господи, вот радость-то! – сказал Прохор. – Дите – оно в семью всегда мир приносит. Это вы здорово решили. А твой?

Витька не понял.

– Младенец-та чей? – спросил Прохор. – Твой?

– А чей еще?

– Она уж полтора месяца одна, не ровен час согрешила...

Витька резко тормознул. Машина остановилась.

– Вылазь, – сказал Витька, – старый дурак.

– Да что ты? – всполошился Прохор. – Я чего? Я ничего, Вить, я ж за тебя страдаю...

– Вылазь, – повторил Витька.

– Вить, Вить, – заторопился Прохор, – ты не серчай, ну, ты меня прости, старика. У меня так жена согрешила, я и напуганный теперя, Вить. Если бы я со зла, а то ведь от всего сердца. Ты не ругайся со мной, Вить, а то нам всем нехорошо будет, Вить...

– Тебе будет нехорошо, а мне что?

– Тебе тоже будет несладко. Один в наши дни кто захочет тонуть? Вдвоем – все веселей.

– Вот я сейчас поеду в милицию и сдам тебя, понял?

– И-и-и, милай, – засмеялся Прохор, – куда ты меня повезешь? Я тя сам куда хочешь отвезу. Только я этого делать не буду. Зачем это мне? Живи себе как хочешь. Лады, отвези меня ко мне домой, в Мамонтовку, и господь с тобой.

– Ты ж в Тарасовке живешь, Архип Иваныч, – сказал Витька. – Советская, сорок. Что я, не помню?

– Да не, там я не живу, там Сударев брат жил двоюродный.

Прохор быстро резанул взглядом Витьку. Глаза у него сейчас стали белые, холодные и пустые. Но так было только мгновение. Когда Витька, почувствовав на себе взгляд Прохора, обернулся, он увидел добрые стариковские глаза, в уголках которых поблескивали беспомощные и добрые слезинки.

– Да ты не бойся, – сказал Витька, – я только так, чтоб ты отвязался, Архип Иваныч. А то «согрешила», «согрешила»!

Прохор всхлипнул и тяжело шмыгнул носом.

– Ну, брось, Архип Иваныч... – попросил Витька. – Ну извини меня, если что не так. Да хватит тебе, Архип Иваныч, ты прямо как женщина.

– Эх, люди, люди... Верно говорят, что они крокодилово порождение. Им с добром, а они все в черном норвят отплатить. Лады, поворачивай. Заедем к тебе, пол-литра махнем, и езжай себе куда хочешь. Не нужно мне от тебя ничего. Деньги-то есть?

– Есть.

– А то можешь взять в долг-то...

– Да нет, пока не надо. Я ж говорю, завязал.

– У тебя есть что закусить?

- Есть. Только мне пить нельзя.
- Стопку?
- Попадусь, тогда хана.
- Миленький, дак ты не попадайся. Потихоньку поедешь-то, гнать не будешь. И потом у меня орешек есть. Мускатный. От него трубочка не краснеет.
- Какая?
- Раппопорта этого самого, дружка твоего.
- Ты только одну бутылку бери, Архип Иваныч, две не надо.
- Ладно, ты меня тут ссади, а сам топай домой. Дверь не запирай, чтоб мне не стучать.

Соседи дома?

- Нет. Они до семи.
- И ладно. А то Любушке стукнут: пил-де водку Витька, пил ее, окаянную... Ты дверь не запирай, чтоб я не колотился, лады?
- Лады.

Прохор купил две бутылки водки, холодного копчения осетрины и полкило сыру. Пока ему заворачивали покупку, он пошел в автомат и позвонил Сударю: он хотел его предупредить, что машины не будет. Но Сударя дома не оказалось.

«Ничего, – решил Прохор, – я за час управлюсь, как раз приду ко времени. А нет – подождет, не привыкать...»

Куда смотрит милиция?!

- Ты книжки про сыщиков читал? – спросил Росляков Леньку.
- Конан Дойля?
- Нет, про нас.
- Читал. Только вас не называют сыщиками. Вас называют в книгах «сотрудниками».
- Вообще, конечно, сотрудник. Только это все равно, что повара называть работником нарпита, а писателя – подвижником культурного фронта. Я знаешь, почему спросил тебя про книги?
- Нет.
- Вот ты с нами второй день ходишь и, наверное, смеешься: все в книгах про нас врут. Да?
- Нет...
- Ну да... Обязательно смеешься. По книге нам только какую-нибудь пуговицу покажи – мы тут же убийцу разыщем. Или посмотрим на человека – и сразу скажем, кто он такой, откуда родом и чем занимался десять лет назад. Глупость какая! А ведь печатают и читают.
- У вас очень трудная работа.
- Шататься по улице?
- Что вы со мной, как с ребенком, разговариваете? Я ведь понимаю, что к чему... Росляков обрадовался.
- Ты не сердись, – сказал он, – это я тебя проверял.

Ленька хотел что-то ответить, но ничего не ответил, потому что увидел, как из такси вылезал Чита. Он хотел закричать ему: «Стой, сволочь!» Он хотел броситься на него, на этого черного красавчика, который, улыбаясь, что-то говорил шоферу.

Росляков посмотрел на Леньку, заметил, как побледнел парень, перевел взгляд туда, где стояло такси, и увидел человека со шрамом на лбу.

– Отойди, – тихо, улыбаясь во весь рот, шепнул он Леньке и пошел к машине, глядя вроде бы в сторону, а на самом деле упершись взглядом в карманы Читы.

Ленька как стоял на месте, так и замер. Сердце бешено колотилось, а руки и ноги сделались мокрыми и ватными, словно совсем чужими. Он понимал, что ему сейчас надо повер-

нуться и уходить, чтобы Чита не заметил его и не заподозрил неладное, но он не мог двигаться, он стоял в оцепенении, как человек, увидавший перед собой злейшего врага, губителя своей жизни.

И Чита заметил Леньку. Секунду он вспоминал его, а вспомнив, ужаснулся. Снова чутье – какое-то звериное, не его, а мудрое и далекое чутье пещерных предков – подсказало ему опасность. Он не обратил внимания на парня, одетого ладно и небрежно, который шел к такси. Он видел того самого мальчишку, который был с ними в кассе. И он видел, как тот стоял, бледный и напряженный, словно перед прыжком.

Чита рывком открыл дверцу и плюхнулся к шоферу. Все в нем затряслось, и спазма сдавила горло. Он сказал:

– Едем. Быстро, – и потянулся к дверце, чтобы захлопнуть ее. Но в тот же миг рука того самого парня, который шел к такси, с силой рванула его тело из машины. И еще он услышал пронзительный голос мальчишки, который был с ним в кассе. Тот кричал: «Сюда! Сюда! На помощь!»

Росляков схватил Читку и, подняв его, понес в подъезд. Чита закричал и начал бить парня коленями по животу. Росляков занес его в подъезд и прижал к стене. Сразу же образовалась толпа. Люди кричали:

– Безобразие! Куда смотрит милиция?! Милицию сюда!

Росляков сопел и держал Читку в железных объятиях, а тот верещал и по-прежнему бил его коленями в живот. Сквозь толпу протиснулись Костенко и оперативник. Они схватили Читку за руки, а Росляков полез к нему в карманы. Толпа шумела и гневалась. Росляков вытащил из заднего кармана брюк теплый пистолет. Все враз замолчали и шарахнулись в стороны, будто отнесенные ветром.

– Вот сюда смотрит милиция, – отдуваясь, сказал Росляков, пряча пистолет, отобранный у Читы. – И давайте расходитесь, пожалуйста. Ничего интересного здесь нет.

Допрос начали сразу же, как только Читку привезли в управление.

– Я требую объяснений, – сказал Чита, когда Садчиков предъявил ему постановление на арест. – Я не понимаю, за что меня задержали.

Он пытался говорить спокойно, но его выдавали пальцы: они мелко дрожали.

«Главное, ни в чем не сознаваться, – повторял себе Чита. – Санька говорил, что главное – не сознаваться... Только не сознаваться...»

– Вас арестовали за четыре преступления, Назаренко, – сказал Росляков. – Вас арестовали за убийство милиционера Копытова, за ограбление скупки и приходной кассы и за незаконное хранение оружия.

– Я никого не грабил и не убивал. Оружие я нашел только что в такси и хотел его передать в милицию.

– Вы что, сейчас ехали в милицию?

– Да.

– А почему вы отпустили машину на улице Горького?

– Я хотел позвонить по телефону и узнать адрес, куда надо везти револьвер.

– Ах так... Ясно, – сказал Росляков. – А почему же тогда вы вдруг передумали звонить и решили быстро уехать?

– Я вспомнил, что вы помещаетесь на Петровке. И вам я сопротивлялся только потому, что думал, вы грабители и это ваш пистолет. Я думал, что вы следили за мной.

– Н-ну, хорошо, – сказал Садчиков, – м-может быть, это так и было. С-скажите, а когда вам надо было заехать за дакроновым костюмом?

– Что? – упавшим голосом переспросил Чита.

– То самое, – сказал Костенко.

Чита сидел на стуле посередине комнаты, а Садчиков, Росляков и Костенко стояли прямо перед ним – стеной, закрывавшей окно. Поэтому Чита не видел их лиц и их глаз, он видел только яркие черные контуры трех людей, которые каждым своим вопросом вбивали ему в голову, прямо в темечко, страшные гвозди. Эти гвозди причиняли ему невероятную боль, он должен был привыкнуть к этой боли, а уже потом, привыкнув к ней, быстро придумать ответ и сказать возможно спокойнее и беззаботнее:

– Я не понимаю, о чем вы говорите.

– С-слушай, Чита, – сказал Садчиков, – ты только из себя б-борца не р-разыгрывай. Тут зрителей нет. И п-пьяных пижонов, которые стоят около ресторанов и к-которых можно легко сбить с ног, тоже нет, и мы, как ты заметил, не девицы, а сыщики...

– Подумайте сейчас о себе, – продолжил Росляков. – Мы возьмем Сударя, и он нам расскажет все. Понимаете? И вы будете последеньким. А это плохо – оказаться последеньким в признании, суд это не очень-то одобрит.

– А за что меня судить?

– Я могу п-повторить еще раз...

– Не надо ваньку валять, – сказал Костенко, – с нами такие номера не проходят. Это у тебя только со Шрезелем такие номера проходили. Это ты ему мог «динамо вертеть», а у нас не получится.

– Я не понимаю, о чем вы говорите.

– З-начит, ты отказываешься давать показания? Так следует понимать тебя, да?

– Нет, почему же...

– Мы повторяем свои вопросы, Назаренко, – сказал Росляков, – послушайте нас еще раз: расскажите, как произошло убийство Копытова, кто и как вам помогал при ограблении скупки и кассы, куда с награбленным ездили и сколько времени вас ждал в машине Витька?

«Все знают! – пронеслось в мозгу у Читы. – Про Витьку тоже знают! Конеч!»

– Я не понимаю, о чем вы говорите, – тихо ответил он, – я просто удивляюсь...

– Хорошо, – сказал Костенко, – сейчас мы тебя отправим в камеру. Но имей в виду следующее: я скажу Сударю, что ты молчишь и таким образом берешь на себя роль главаря банды. Думаю, что Сударя это устроит. Он даст показания, если ты молчишь и если сам себя пускаешь главарем. Имей в виду. Ты, конечно, потом откажешься от молчания и будешь показывать все на Сударя. Суд пришлет нам дело на доследование. Мы терпеливые. Мы тебя выслушаем еще раз, мы запишем твои новые показания и заново будем допрашивать Сударя. Но он-то наверняка от своих прежних показаний не откажется. Это уж ты поверь мне. Он скажет, что ты выкручиваешься и лжешь. Ты понимаешь, что он поступит именно так. И я не знаю, как суд посмотрит на твои измененные показания. То молчал, а то вдруг все стал валить на содельца. Вот об этом я должен тебе сказать. Подумай. Взвесь все. У нас есть время. Мы можем подождать...

Чита попробовал улыбнуться. Он откашлялся и сказал:

– Спасибо вам большое за разъяснение, но я просто не знаю, в чем мне сознаваться... Вы говорите про какого-то милиционера, которого убили... И вообще... Я ничего об этом не знаю.

Садчиков позвонил по внутреннему телефону и спросил:

– Как экс-спертиза? Что? Ага. Н-ну хорошо, давайте ее сюда...

– Что? – спросил Костенко.

– Т-так вот, – нагнувшись над Читой, сказал Садчиков. – Тот пистолет, который мы взяли у тебя, принадлежал убитому сержанту милиции Копытову, Ч-чита. По номеру мы это сразу узнали, а эк-кспертиза нам подтвердила научно.

– Да, но я его н-нашел...

– Т-ты меня не передразнивай, – посоветовал Садчиков, – н-не стоит.

– Я не передразнива-аю! – взмолился Чита. – Это у меня само!

– Испугались? – спросил Росляков.

– Нет, просто...

– Не так уж все это просто, – сказал Костенко. – Что, вызывать конвой? Пойдешь в камеру молчальником, Чита?

– Но я нашел этот пистолет в машине!

– Только не лгите, – сказал Росляков, – только не надо нам лгать, Назаренко. Это я вам даю добрый совет, поверьте мне. Шофер такси номер ММТ 57–51, на котором вы ехали, у нас. Его зовут Николай Васильевич Теплов. Сейчас мы его пригласим.

– Да, это мой первый выезд, – сказал шофер Теплов. – Я выехал из парка, я там амортизатор менял, а этот гражданин меня остановил.

– Он куда сел? – спросил Костенко.

– В машину, – ответил шофер, – куда же еще...

– Это мы понимаем, нас ин-интересует место в машине.

– Рядом со мной сел.

– И на заднее сиденье не садился? – спросил Росляков. – Может быть, он выходил пить газированную воду или звонил по телефону, а потом сел на заднее сиденье? Вспомните, пожалуйста.

– Да нет, что я, болван, что ль? Он еще торопил меня всю дорогу, велел гнать, говорил, что сам за меня рубль орудовцу отдаст, если остановят.

– Он вам показывал пистолет, который нашел под сиденьем?

– Чего?! – взвился шофер. – Вы это, знаете, бросьте! Вы меня на пушку не берите! И ты давай не подмаргивай! Пистолет... Я никаких пистолетов в машине не вожу! Пистолет...

– Вы бы осторожнее подмаргивали, Назаренко, – сказал Росляков, – а то неудобно, видите, товарищ Теплов сердится на вас.

– С-спасибо, товарищ Теплов, – сказал Садчиков, – п-простите, что пришлось оторвать от работы.

– Вы мне отметьте, что я у вас по делам, – попросил Теплов, – а то завтра же на профсоюзном выговор дадут. Как милиция, так сразу думают – пьянка. А у меня катар, я этого вина проклятушного в рот не беру.

– «Ессентуки» надо пить, – посоветовал Костенко, – семнадцатый номер. Очень помогает.

Когда Теплов ушел, Садчиков сказал Чите:

– Н-ну, придумывай, Чита, новую версию, эта, видишь, отпала.

– Он врет! – сказал Чита. – Он нагло врет! Я отвожу его как свидетеля...

– Н-не торопись, – снова посоветовал Садчиков, – лучше придумай что-либо н-новенькое, мы вместе обсудим, так или не так. Может быть, ты нашел пистолет на улице, когда шел от Сударя к стоянке т-такси? Или, может быть, у Сударя в подъезде?

– Или, может, – подсказал Костенко, – у Сударя в квартире?

– Ладно, – сказал Росляков, – тогда давайте все спросим у Сударя. Вы где с ним уговорились встретиться?

– Я не уговаривался с ним встречаться.

– Снова врешь, – сказал Костенко. – Дома у него сейчас засада. Он вернется домой, потому что ему нужен помощник. Витька с вами теперь не ходит, ты – у нас. Он вернется домой и будет тебя ждать там. А там мы ждем его.

«Я же не хотел! – лихорадочно думал Чита. – Я так и знал, что влипнем! Я же не хотел идти с ним, когда он показал мне пистолет в первый раз. Они не поверят мне. Но я не хотел! Это он, сволочь, бериевское отродье, сатрап проклятый, заставил меня! А вдруг они ничего

не знают? Сударь говорил, что надо молчать! А если сказать? Не все, а только самое легкое? Черт, как же быть? Как же мне быть, Господи! Помоги мне! Mamочка! Что делать-то сейчас?»

– Сколько раз с вами воровал поэт?

– Он не воровал, – ответил Чита и сразу же понял, что уже начал помимо своей воли говорить. Он понял, что проговорился, он попался! Они взяли его врасплох этим вопросом, потому что он боялся только Сударя, а этого паренька он не думал бояться, он забыл о нем, как только попал в руки того, который затащил его в парадное.

– А касса? Он же с вами был в кассе, – быстро сказал Костенко. Чита устало вытянул руки и потер пальцами колени. Он почувствовал, что пальцы перестали дрожать.

– Нет, – сказал он тихо, – там мы были вдвоем. Он просто шел сзади. Мы даже не поняли, как он за нами вошел. Он был пьяный. А про милиционера я ничего не знаю. И вообще больше ничего не было.

– Снова врешь, – жестко возразил Костенко, – мы уже вызвали людей из скупки и из домовой лавки. Ты заметный, они тебя сразу узнают. Шрам, да парень ты видный, хоть и очки нацепил для конспирации.

– Где вы должны были встретиться с Сударем? – повторил Росляков. – Давайте, давайте, нечего уж...

«Сударь все равно будет молчать. Он им ничего не скажет. Пусть сами берут, – быстро думал Чита. – Этого я им не скажу. А про то они все равно знают».

– Мы с ним не уговаривались о встрече, честное слово.

– К-какое? – удивился Садчиков.

– Честное слово, – повторил Чита. – Я уехал от него – и все.

«Мне никак нельзя говорить. Тогда будет два новых дела. Он должен грабить этих чертовых скрипачей. А я ничего не знаю. От всего откажусь. Меня первого взяли, мне и вера...»

– З-значит, поэт с вами не воровал?

– Нет.

– И в-вы с ним не говорили о том, что собираетесь брать кассу?

– Нет. Мы потом жалели, что он за нами увязался.

– На м-минуточку, С-слава, – позвал Садчиков Костенко, и они вышли из комнаты. Садчиков отошел к скамейке, сел, достал сигареты и улыбнулся.

– Я, знаешь, за Леньку рад, – сказал он, – он теперь у нас просто как свидетель пойдет. Давай писать протокол, и сразу ч-чтобы этот вопрос особо отметить, это для Леньки спасение...

– А как быть с Сударем?

– Он з-знает, где у них назначена встреча.

– Думаешь?

– У-убежден.

– Ну извини...

– Да н-нет, ничего, – улыбнулся Садчиков. – Теперь т-так: про Сударя пока ни слова. Пройдет полчаса, он пообвыкнет, и тогда повторим в-вопрос еще раз, как считаешь?

– Хорошо. Пошли.

Виктора убили

Когда распилили половину бутылки, Прохор попросил:

– Вить, а Вить, ты сходил бы, из машины бензинчика мне отсосал – пятно замыть.

– Какое пятно?

– Веранду я красил. Масляное. Вот, на коленке – видишь?

– Потом принесу.

- Нет, Вить, сейчас. А то вонять будет. Чего те стоит-та?
- Въедливый ты, старикан. Давай разливай по последней...
- А ты пока сходи, ладно, Вить? Я во всем опрятность люблю.
- Ладно.

Виктор пошел к машине. Прохор достал из внутреннего кармана длинное шило, завернутое в тряпочку, развернул его и положил в свой старенький портфель, потом подошел к окну и внимательно следил за тем, будет ли Виктор останавливаться и разговаривать с кем-либо. Нет. Налил в пузырек из карбюратора бензина, пошел к подъезду. Ах, сволочь, с кем же ты остановился, а?

А Витька встретил Алика из соседнего подъезда.

– Здорово, – сказал Алик.

– Привет.

– Ну, как дела?

– Ничего. Сегодня за Любкой еду. А ты как?

– Тоже ничего. Продули мы позавчера «Химику».

– Эх вы, тюри...

– Сегодня в Тарасовке на загородном филиале стадиона со вторым «Спартаком» играем.

В семь часов. Хочешь, приезжай.

– Я за Любкой еду.

– Игра будет – класс! Чего ты бензин несешь?

– Да приятелю, пятно отмыть на штанах, – сказал Витька и кивнул головой на свое окно.

Алик поднял голову и увидел Прохора. Прохор отпрянул от окна.

– Ну, пока, – сказал Алик.

– Пока. Ни пуха ни пера.

– Иди к черту...

– Вить, а Вить, с кем ты лясы свои натачивал?

– Приятель один.

– А я что, носорог? Меня зачем ему в окно показывал?

– Да я тебя и не показывал вовсе.

– А чего ж он глазел?

– Я сказал, что бензин несу, брюки себе почистить, вот и весь разговор.

– Архип Иванычу, небось сказал, несу. С Тарасовки, да?

– Ничего я про тебя не говорил. И чего ты пугливый такой? Прямо как лань.

– Лань – она очень красивых форм тварь. Давай пей за здоровье Любушки нашей. Ух, красавица, дай ей Боженька хорошего сыночка! Пей!

Они чокнулись, и Витька выпил.

– Зря я захмеляюсь, – сказал он. – Не ровен час – милиция остановит. Я ж за Любкой сегодня еду...

– Я тебе говорил – не гони... Мусора, они только к тем с подозрением, кто гонит... А кто потихоньку да полегоньку, тот катает себе по городу и горя не знает...

Прохор вдруг замер и прислушался.

– Ты чего, Архип Иваныч? – удивился Виктор.

– Погоди...

– Да чего ты? Один я, один...

– Вроде бы кто у машины балует, слышишь, дверь хлопнула?

Виктор сорвался с места и бросился к окну. Прохор кошачьим, тихим движением достал из портфеля шило, спрятал его за спину и пошел к Виктору, который смотрел во двор...

– Никого нет, – сказал он, не оборачиваясь, – померещилось, видать, вам, Архип Иванович...

Прохор застонал и, падая вперед, ударил Виктора шилом под левую лопатку: этот удар был его коронным – он казнил сорок семь человек именно этим ударом. Это было двадцать лет назад, в Минске, после покушения на гаулейтера...

Витька молча осел на пол, даже не вскрикнув.

Прохор оттащил труп от окна и положил на кушетку. Затем полил его бензином, подвинул к кровати стул, положил на стул спички и папиросы, раскрыл коробок и, достав из шкафа пиджак, долго смачивал его бензином. Потом выбросил в мусоропровод стаканы, из которых они пили, и бутылку. Осторожно заглянул во двор. Там было пусто. Быстро чиркнув спичкой, он бросил ее на Витьку. Туго вспыхнуло синее пламя. Прохор осторожно высунулся из квартиры и по-кошачьи тихо бросился вниз. Согнувшись, приволакивая ногу, он медленно вышел на улицу, пересек ее и сел в первый проходящий троллейбус.

«Нет Витеньки, – подумал он, – сгорел мальчик. А с ним и Тарасовка моя сгорела. Один свидетель у меня был, кроме Бога. А Бог простит, он у меня свой, собственный».

Сударь прогуливался на условленном месте. Прохора не было.

«Вот старая сволочь! – думал он. – Если не придет, на дело не пойду. Без марафета какое, к чертям собачьим, дело? А может, у профессора марафет есть? У всех врачей он должен быть. Картины картинками, а грамм бы наркотика, а?»

Он даже улыбнулся, когда представил себе, как в тумбочке, обязательно в тумбочке, где-нибудь в профессорской спальне, найдет белую бумажку, свернутую пакетиком.

«Что, на Витьке свет клином, что ль, сошелся? В конце концов, возьму такси, скажу – на курорт. Пятерку в зубы – что он, в чемоданы лезть будет?»

Сударь снова посмотрел на часы: Прохор опаздывал уже на полчаса.

«Через час там будет маячить Чита. Ладно. Пойду без Витьки. А марафет у профессора обязательно будет».

Он остановил такси и сказал шоферу:

– Слушай, приятель, у тебя часа два есть?

– У меня не два. У меня двадцать четыре часа есть.

– Тогда порядок. Я, понял, сегодня на море мотаю, в Гагру. Надо за шмотками к себе заехать, а потом – к брату.

Сударь достал пять рублей и протянул их шоферу.

– Держи. Поехали в Грохольский, там меня братан ждет.

– Поехали, – согласился шофер и включил счетчик, – чего ж не поехать...

Профессор

Профессор Гальяновский сидел около окна и курил. Он очень медленно курил, и каждая затяжка пожирала заметную часть сигареты. Сигареты были очень крепкие и вкусные: позавчера профессор был на приеме у итальянцев и привез оттуда подарок – две пачки каких-то особых сигарет, сделанных по абиссинскому рецепту. Итальянцы хорошо знали профессора, потому что он несколько раз выступал с докладами в Риме и Неаполе. Он был почетным академиком Итальянской академии и бывал в Италии раза по два в году. В посольстве знали его страсть к крепким сигаретам и обязательно каждый раз готовили в подарок что-нибудь диковинное и новое.

Выкурив первую сигарету, профессор сразу же закурил вторую. Он сидел, нахохлившись, здоровый, апоплексически красный, с огромными, сильными руками. Седой пушок на затылке,

детский, очень какой-то нежный, не вязался со всем его обликом, по-мужицки кряжистым и суровым.

Он сейчас ни о чем не думал. Просто курил, уставившись в одну точку. Он не мог думать, ему сейчас было очень больно думать, просто даже никак нельзя ему сейчас было думать, потому что вчера у него под ножом умер его старинный друг, самый близкий из всех, которые оставались еще на земле.

Они дружили давно, с дореволюционных времен, когда еще жили в эмиграции в Женеве, после того как вместе бежали из архангельской ссылки.

Два раза профессор спасал друга от тяжелых инфарктов, и вчера, начав операцию и увидев сердце друга – все в шрамах, больное и изношенное, доброе сердце большого человека, – он все-таки верил в победу над смертью.

Сердце больного было выключено, вместо него работало искусственное – умный металлический аппарат, который гонит кровь по сосудам. Профессор обновил сердце друга, он сделал чудо. Но когда отключили искусственное сердце, настоящее не заработало. Профессор снова подключил аппарат, и снова оперировал, и снова делал чудо, но человек ведь не всегда может одолеть смерть – этот неумолимый процесс распада материи...

Прозвенел звонок. Профессор тяжело поднялся и пошел в переднюю. Он не стал спрашивать, кто пришел. Он распахнул дверь и увидел тетю Машу, женщину, которая обычно убирала его квартиру. И еще он увидел парня, выходящего из лифта.

Парень был с чемоданчиком, который обычно носят слесари.

– Вы ко мне? – спросил профессор.

– Нет, – ответил парень, – к вам я попозже. Мне сначала надо в сороковую квартиру. – И начал спускаться вниз.

– Поскорее у меня убери, Машенька, – попросил профессор, – и иди домой.

Сударь, прикинув к двери, слышал эти слова. Он хрустнул пальцами и пошел вниз, сморщив лицо. Желание впрыснуть поскорее наркотик становилось нестерпимым.

«Поеду к скрипачу, – решил он. – Какая разница, в конце концов, кто из них будет первым?»

– Братан ключа не оставил, – сказал он шоферу, – ждем к маме.

– К какой? – усмехнулся шофер.

– К той самой, – ответил Сударь. – Которая в Кисловском переулке.

Он сжимал и разжимал кулаки очень медленно, сдерживая себя, что есть силы сдерживая. Он уже знал: чтобы не сорваться на мелочи, надо сдерживаться и уговаривать себя: «Я не хочу марафета! Я не хочу марафета! Я не хочу марафета!» И сквозь это заклинание он стал постепенно вспоминать о Чите: «Где он? Хотя еще рано. Он должен быть здесь через час. Я бы подождал его в квартире. А сейчас? Сейчас я возьму у скрипача только его скрипку, и не буду брать больше ничего, и вернусь сюда. Он как раз будет здесь. Так? Так. Я не хочу наркотика, мне не нужен марафет, не нужен...»

Чита сдался

– Больше ничего не было, – сказал Чита и вытер со лба пот. – Это все.

– Все? – спросил Костенко. – А ты еще забыл о пистолете.

– Пистолет... Да, это я действительно забыл. Я купил его на Казанском вокзале. Его продавал мальчишка в кепочке.

Сейчас Чита говорил четко, подобострастно глядя на оперативников, все время кивая головой. Каждой фразе он помогал руками. Они у него летали, будто у иллюзиониста. Он опи-сывал ими полукруги, хватался за щеки, рассказывая, как он переживал случившееся, закры-

вал руками глаза, когда хотел показать всю глубину раскаяния. Паузы он использовал в оборонительных целях: придумывал главные ответы на те главные вопросы, которые еще предстоят.

Садчиков не мешал ему. Он делал маленькие карандашные пометки на большом листе бумаги, Костенко писал протокол, а Росляков сидел на подоконнике и болтал ногами.

Роли у них были распределены. Костенко просто пишет, Росляков наблюдает за Читой, рисует его психологический портрет, следит за каждым нюансом его голоса, за каждым его жестом. А Садчиков отмечает все те противоречия, которые незаметны лгущему человеку, причем лгущему не подготовленно, а экспромтом. Ими, этими противоречиями, завтра или послезавтра, предложив Чите рассказать все заново, он изобличит ложь. Только не надо торопиться или перебивать. Пусть говорит. Он сейчас «в форме», он верит тому, что говорит, он сейчас весь в своей «легенде», по которой ограбления скупки и кассы выглядят как печальные недоразумения, следствие мальчишеских шалостей, глупость, сушая глупость, а никак не преднамеренное и обдуманное преступление. С этим все кончено, они с Сударем не могли себе найти места от стыда и раскаяния, они даже думали прийти и покаяться, попросить, чтобы их простили и отправили на трудную работу, нужную родине. Что, разве они не понимают? Они все понимают и больше никаких преступлений не замыслили.

– Где Сударь? – спросил Садчиков. – Он ж-ждет тебя и волнуется? Г-где он?

Чита не успел ответить, потому что раздался телефонный звонок.

Садчиков снял трубку. Говорил дежурный по управлению.

– Вас интересовали шоферы по имени Виктор, товарищ майор?

– Оч-чень.

– Так вот, сейчас пожарники затушили очаг... Там обгоревший наполовину труп. Шофер Виктор Ганкин. Его на вскрытие сейчас увезут, вам посмотреть не надо?

– Н-надо. Благодарю вас. Подсылайте, пожалуйста, машину.

Садчиков задумчиво посмотрел на Читку и спросил его:

– Т-ты еще забыл нам рассказать про Витьку.

– Про какого Витьку?

– К-который катал вас.

– Нас никто не катал, что вы!..

– Так уж и никто?

– Конечно никто.

– Ладно. Поедем, сейчас покажем тебе Витьку.

– Какого?

– Увидишь.

– Может быть, я его, конечно, и знаю, только...

– Ч-что «только»?

– Нет, ничего... Знаете, много всяких знакомых... Он меня, может, знает, а я его нет.

– Хватит лгать, – сказал Росляков. – Вам так труднее. Игра ваша проиграна, так уж нечего вертеться. Говорите все, вам же будет легче, мозгу отдых дадите. А вы вроде конферансье – мелете, мелете чепуху, а нам что, смеяться? Не смешно.

– Т-ты боишься покойников, Ч-чита? – спросил Садчиков.

– А что? Почему вы меня спрашиваете про это? Зачем покойники?

– Ин-нтересуюсь...

– Не надо, – сказал Чита, – зачем вы говорите про это? Я никогда не убивал, мы никого не убивали...

– Ты за Суд-даря можешь поручиться?

– Да, да, только вы меня так не пугайте...

– Поехали, – сказал Садчиков.

– Куда? – побледнел Чита. – Куда вы меня увозите? Должен быть суд! Куда вы меня хотите увезти?! Скажите, куда?!

– Да т-ты истеричка, оказывается, – сказал Садчиков. – Вставай!

– Хорошо, х-хорошо, – быстро ответил Чита, – с-сейчас.

– Снов-ва дразнишься? – рассердился Садчиков. – С-смотри у меня!

– Я не дразнюсь.

Встать он не мог, потому что ослабли ноги. «Труп. Какой труп? Почему они говорят про труп? Может быть, я труп? Ой! Убьют! Они везут меня убивать...»

– Я не поеду! – вдруг тонко завопил он. – Никуда не поеду!

Костенко запер протокол в сейф, шагнул к двери и сказал:

– Поедешь.

Первыми в комнату вошли Садчиков и Костенко. Чита и Росляков стояли в коридоре вместе с понятыми.

Садчиков увидел обгорелый труп, желтые пятки и ослепительно-белые зубы на обугленном лице.

– Ч-что? – спросил Садчиков эксперта.

Тот сказал:

– Сейчас пошли копать в мусоропроводе. Он был открыт, мусоропровод. Мне кажется, здесь убийство. С симуляцией несчастного случая.

– Почему вы так думаете? – спросил Костенко. – Напился до чертиков и сгорел.

– Нет. Ваши люди обыскали его машину, там путевой лист, он помечен тремя часами. А сгорел он в четыре. За час трудно напиться до такого состояния.

– Г-где наши люди?

– Они ходят по квартирам, ищут возможных свидетелей.

Садчиков обернулся к Костенко и сказал:

– Веди Читу.

Чита вошел, увидел обгорелый труп Виктора и привалился к косяку, чтобы не упасть. Потом он почувствовал тошноту и закрыл глаза. Все в нем похолодело, оборвалось, завертелось что-то в голове, и зубы сцепились в дрожи.

– Ну, – сказал Садчиков, – ваша р-работа?

Чита помотал головой. Говорить он не мог.

– Алиби представишь?

– Да, – прошептал Чита.

– За себя?

– Да.

– А за Сударя? Ты же за обоих в-все время говорил. Ну, где он? Или это в-ваша общая работа?

– Нет.

«Зверь, – подумал Чита. – Это он. Это только он один мог сделать. И со мной тоже. С кем угодно. Зверь...»

– Скорее, – сказал Чита, – только скорее езжайте. Или на Грохольском, у профессора Гальяновского, или у скрипача, в Кисловском. Скорее. Только скорее.

– Когда у вас б-было в-все д-договорено?

– А сколько сейчас?

– Шесть.

– На пять. Мы условились на пять.

– Что ж-же ты молчал, с-сволочь?! – тихо сказал Садчиков. – Слава, Валя, – по адресам!

– А люди?

– Не успеете дождаться. Я в-вызову л-людей туда, прямо на места по телефону. Скорей, р-ребята, к-как можно скорей!

Скрипач и Сударь

Друзья звали скрипача странным именем Кока. Никто не знал, откуда это имя к нему пришло. И сам скрипач не знал этого, хотя пытался докопаться до самой сути, – он был человеком аналитического склада ума и во всяком явлении силился распознать закономерность.

– Кока, – сказал администратор Арон Маркович, – а все-таки вам придется поехать в Томск.

– Боже мой, но ведь у меня уже почти начался отпуск!

– Тем не менее.

Кока сел в кресло и, закурив, принялся насвистывать песенку. Арон Маркович кружился вокруг него и пытался даже подсвистывать, хотя слухом его бог обидел.

– Когда брать билет, Кока?

– Я никуда не поеду.

– Это не объяснение для филармонии.

– У меня болят ноги.

– Для них это тоже не объяснение.

– Для «них» – это значит для вас, Арончик.

– Для меня! Какое я имею отношение к тем бандитам, какое?

– Непосредственное. Вы у них служите.

– Я нигде не служу. Я работаю.

– Помните у Ильфа и Петрова: «Я это сделал не в интересах правды, а в интересах истины»?

– Ах, Кока, перестаньте!

– Арон, хотите, я вам расскажу новый анекдот?

– Вы с ума сошли! – замахал руками администратор. Он еще со старых времен боялся анекдотов. – Какой еще анекдот? Я не знаю никаких анекдотов и знать не хочу! Когда вы летите – вот что я хочу знать.

– Никогда! – ответил Кока звенящим голосом. – Ни за что! Я завтра скажу моим ученикам, чтобы они бежали из консерватории. Бежали со всех ног. Артисты! Ах, жизнь артиста! Фраки, манишки, овалы, медали, репортеры! Тьфу! Пропади все это пропадом! Хочу быть бухгалтером! Иметь свой, гарантированный законом отпуск, считать дивиденды и ни о чем больше не думать! Десять часов каждодневных репетиций, бесконечные поездки, жизнь бродячего циркача! Я больше не могу! Понимаете?! Я живу дома месяц в году, Арон!

– Хорошо, – сказал Арон Маркович, – я постараюсь устроить вас счетоводом.

– При чем здесь счетовод?

– Вы же сами хотели быть бухгалтером. Вы только что сказали мне об этом.

– Мало ли что я сказал! А что, если я попрошу у вас должность президента Боливии?

– Трудновато, но, может быть, выхлопочу.

– Вы прекрасный человек, Арон.

– Я знаю...

– Вы негодяй.

– Это я тоже знаю. Когда вы едете?

– Никогда.

– Поедете, Кока. Иначе ваша теория страдания слишком резко разойдется с практикой жизни.

Это было больное место Коки. Он считал, что главный стержень искусства – страдание. Радость вызывает смех, страдание – слезы. Радость и благоденствие порождают хорошее настроение, страдание создает Достоевского, Баха, Стендаля, Хемингуэя. К этой своей теории скрипач относился трепетно и отстаивал ее в жарких спорах до последней возможности.

– Кто-то звонит, – сказал Арон Маркович испуганно. Он с детских лет боялся звонков в дверь...

– Это из прачечной.

– Я открою.

– Спасибо.

Арон Маркович подошел к двери и спросил:

– Кто там?

– Слесарь.

– Слесарь! – крикнул Арон Маркович. – Вы просили слесаря, Кока?

– Нет.

– А что вам надо, слесарь? – спросил Арон Маркович, все еще не открывая двери.

– Проверка. Если вы заняты, я попозже зайду.

– Он зайдет попозже, Кока.

– Откройте же дверь, Арон, это неудобно, там человек стоит.

– А что вы будете проверять, слесарь?

– Трубы...

Арон Маркович открыл дверь. На пороге стоял Сударь. Он осторожно переступил порог, судорожно вздохнул и сказал:

– Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Мне бы кухню посмотреть. Только если вы заняты, я могу попозже.

Кока крикнул из комнаты:

– Вы надолго?

– Минут десять.

– Тогда пожалуйста.

Арон Маркович неотступно следовал за Сударем. Кока достал из футляра скрипку и стал играть Брамса, расхаживая по комнате. Слесарь начал стучать чем-то металлическим, и Кока поморщился, потому что металлические звуки ложились на Брамса и делали музыку страшной – словно из фильма кошмаров. Кока перестал и крикнул:

– Арон, где вы?

– Мы на кухне.

– Идите сюда!

Администратор вошел в комнату.

– Поезжайте и заказывайте билет на завтра, – сказал Кока, – и одновременно закажите на Симферополь, я из Томска улечу работать в деревню. К морю.

– Я же знал. Вы добрая и обязательная умница.

– Когда вы вернетесь?

– Через час.

– Хорошо. Я пока поработаю.

Арон Маркович улыбнулся, посмотрел на Коку своими близорукими глазами, тронул Коку за плечо и, ступая на цыпочках, пошел к двери. Кока снова начал играть Брамса. Дверь хлопнула, Арон Маркович ушел. В квартире остались два человека: скрипач и убийца.

Плохо с Ленкой

К оперативному дежурному по управлению позвонил следователь из прокуратуры.

– Послушайте, – сказал он, – я второй день ищу Садчикова или кого-нибудь из его группы.

– Они все на происшествии.

– Я понимаю. С делом я ознакомился, я ж к их делу подключен.

– Ясно.

– Вам ясно, а мне не совсем. Вы знакомы со всеми обстоятельствами?

– Знаком.

– У меня тут один щекотливый вопрос. То вы нам покоя не даете, требуете постановление на арест, а то – в данном случае – преступник разгуливает на свободе и даже, видите ли, экзамены сдает.

– Это вы о ком?

– О Самсонове.

– Так он же мальчишка.

– Семнадцать лет – мальчишка? Я в семнадцать лет руководил раскулачиванием, дорогой товарищ... Очень это все мне странно. Папашу ответственного боитесь, что ли? Брать его надо, этого сыночка. Барчук, зажрался, на уголовщину потянуло, нервы пощекотать... Не понимаю я вас, товарищи дорогие, не понимаю...

– Это что, Садчикову передать?

– Да уж, конечно, не скрывайте.

– Ладно. Передам. У вас все?

– Вообще-то, да. Вот только, может быть, у вас там парочка билетов на завтрашний «Спартак» осталась? Я тут с ног сбился...

– Присылайте кого-нибудь, у нас еще есть.

– Ну спасибо большое. Счастливо вам. Сейчас пришлю. Пока.

– Пока.

Дежурный вздохнул и полез за папиросами. «Жаль мальчишку, – подумал, закуривая. – Кто в камере ночь посидел, у того седина на год раньше появится. Эх, глупость людская!»

Администратор волнуется

Арон Маркович стоял на троллейбусной остановке и чувствовал, как в нем росла непонятная тревога. Он не мог понять, отчего это происходило. Сев в пятый троллейбус, который шел к центру, он подумал: «Это, верно, к сердечной спазме. Погода меняется».

Устроившись у окна, Арон Маркович откинулся на спинку жесткого сиденья и положил ногу на ногу. Закрыв глаза и потер веки. И вдруг с поразительной четкостью, словно на линогравюре, увидел лицо человека. Оно было зеленым из-за того, что он тер веки. Зеленым, четким и жутким.

«Кто это?! – ужаснулся Арон Маркович. – Какой ужас, боже мой!»

Он открыл глаза и сразу же вспомнил, что лицо это принадлежало слесарю, который пришел к Коке.

– Остановите троллейбус! – крикнул Арон Маркович и побежал к выходу, расталкивая пассажиров острыми локтями. – Товарищ водитель, остановите машину, товарищ водитель!

– Вы что, гражданин, – сказал водитель, не оборачиваясь. – Как же я остановлю троллейбус, если остановки нет?

– Послушайте, меня надо выпустить, мне надо немедленно вернуться!

– Да не кричите вы! – рассердился водитель. – Будет остановка – и выйдете. Нечего панику пороть. Не на пожар!

– Какой вы черствый человек, – сказал Арон Маркович, – а там за это время может случиться ужас!

«А может быть, это я оттого, что меняется погода? – снова подумал Арон Маркович. – Может быть, я сам себя пугаю?»

Но он все время видел лицо слесаря, его пустые, совершенно белые глаза без зрачков и длинные руки, чуть не до колен.

Когда троллейбус остановился, Арон Маркович выскочил на тротуар и побежал к стоянке такси. Там была очередь.

– Товарищи! – взмолился он. – Я умоляю вас, дайте мне такси!

– А пряника хотите? – спросил парень в спортивном свитере.

– Как вам не совестно, как?! – сказал Арон Маркович. – Люди, скажите, чтобы он пустил меня в машину! Может произойти преступление, если я не вернусь к нему!

– Куда? К кому? – посыпалось со всех сторон.

– К Коке!

Парень в свитере засмеялся:

– Ничего с вашим Кокой не будет.

Остановилось такси. Парень открыл переднюю дверь и сел рядом с шофером. Тогда Арон Маркович сел на заднее сиденье и сказал:

– Я из такси не уйду.

– Гражданин, – попросил шофер, – выйдите по-хорошему.

– Нет.

– Папаша, ты что, белены объелся? – спросил парень.

– Я из машины не выйду.

Люди в очереди стали говорить:

– Смотрите, он весь белый, этот старик.

– Ему плохо!

– Пустите его, молодой человек!

– Как вам не совестно, юноша!

Парень обернулся и спросил:

– Куда вам?

– Здесь рядом, на площади.

– Подвезите его, – сказал парень, – а то он трехнутый какой-то.

В Тарасовке

Футболист Алик кончил шнуровать свои новые чешские бутсы и, встав с лавки, принялся неторопливо и сосредоточенно разминаться. В минуты, предшествовавшие матчу, он отключался от всего его окружающего и думал только об одном – о том, как через пятнадцать минут на поле начнется игра.

В коридоре что-то кричали. Доносились слова: «Ганкин Витька сгорел! Сгорел! Ганкин! Витька!» – «Да что ты говоришь?»

Алик сначала не хотел думать об этих словах, ему сейчас важно было как следует размяться, чтобы выйти на поле подтянутым, чтобы тело было послушным его воле, чтобы дыхание установилось заранее – четкое и ритмичное.

«Витька сгорел! Ганкин-то сгорел!»

Алик подумал: «Наверное, Любка вернулась и его с кем-нибудь застукала. Любка – девка с норовом, значит он сгорел крупно. Ну и дурак. Если уж шустрить, так надо умело...»

– Лицо черное, говорят, бензином облился и поджег себя! – кричал кто-то быстро, глотая слова. – Только ноги и не сгорели...

Алик перестал прыгать через скакалочку и вышел в коридор.

– Это как?

– Бензином облился и сгорел.

– Ты ерунду не мели. Я его перед отъездом видел, два часа назад.

– Что, я шучу? Сам видел, милиция туда понаехала, пожарники...

– Не может быть... Там у него дед был. Он еще со мной вместе сюда ехал на электричке.

– Какой дед?

– Старичок у него сидел, ему Витька бензин тащил брюки чистить.

– Нет у Витьки никакого деда.

– Да он не его дед. Он просто дед. Старый, понимаешь? А Витька в больнице?

– Да он мертвый, зачем его в больницу везти...

– Иди ты...

– Точно.

– Что, совсем?

– Нет, наполовину... Говорю – умер...

– А Любка у него ребеночка ждет...

– Да, ужас...

– Слушай, Коль, может, мне в милицию позвонить? Про деда сказать, а?

– Очень им твой дед нужен.

– А ты откуда знаешь?

– Чего он знает-то, дед? Сам говоришь – старый.

– Раз старый – значит глупый, что ли?

– А что он может сказать, если с тобой в электричке ехал...

– Так он у него еще оставался...

– Откуда ты знаешь? Эх, Витька, Витька, прямо не верится...

Вошел тренер и закричал:

– Вы что, с ума все здесь походили? На поле разминка началась! А ну быстро!

– Витька сгорел, – сказал Алик.

Тренер ничего не понял и поэтому рассердился:

– Сейчас мы сторим! Быстро, тебя команда ждет...

Сударь вошел в кабинет скрипача, зажав в правой руке молоток.

– У вас лесенки нет? – спросил он тихо. – Мне бы лесенку...

Кока перестал играть, вопросительно посмотрел на него и переспросил:

– Лесенки? А зачем, собственно?

– Трубы посмотреть хочу.

– Ах, трубы... Хорошо... Вы взгляните в ванной комнате, там, кажется, есть некоторое подобие лестницы. Кстати, вы хотите покушать? В холодильнике есть пирожки и бульон, подогрейте себе.

– Что?

– Я говорю, что в холодильнике есть пирожки и бульон. Если вы хотите перекусить – милости прошу. Пирожки с мясом.

– Потом.

– Пожалуйста.

– Вы мне покажите в ванной, где она, лесенка эта самая...

– Да вы увидите сами.

– Неудобно без хозяина.

- Что за глупость, боже мой! Вы же рабочий человек, а не древняя бабушка.
- Нет, вы лучше сами.
- Ну, пойдем...

Кока положил скрипку на стол, рядом с ней положил смычок и пошел в ванную комнату. Следом за ним Сударь. И в тот момент, когда скрипач нагнулся, чтобы вытащить из-под раковины металлическую складную лесенку, а Сударь медленно поднял руку, чтобы разбить молотком голову нагнувшегося человека, в прихожей заверещал звонок.

Сударь весь обмяк, на лбу выступила испарина, пальцы разжались, и молоток упал на пол, глухо брякнув. Разбилась кафельная плитка. Скрипач поднял голову и попросил:

- Откройте дверь, будьте любезны.
- А кто там?
- Молочница. Она всегда приходит в это время.

Сударь подошел к двери и спросил:

- Кто?
- Это я, Арон Маркович.
- Кто, кто?
- Это Арон, – крикнул скрипач, – откройте ему!..

Сударь отпер дверь. Администратор увидел его, отступил на шаг и прошептал:

- Где Кока?
- Вас зовут! – обернулся Сударь, чувствуя, как у него прыгает лицо, и руки трясутся, и нога выбивает быстрый, судорожный такт.

Кока вышел из ванной, держа лесенку на вытянутых руках.

– Она пыльная, – сказал он, – сейчас мы найдем тряпку! Почему вы так стремительно вернулись, Арончик?

- Я?
- Нет, вы, – улыбнулся Кока.
- Заболело сердце, Кокочка, простите, бога ради, старика. И вы меня, товарищ слесарь, простите...

Арон Маркович близко заглянул в лицо Сударя, и тот увидел ужас, спрятанный где-то в самой глубине стариковских маленьких глаз.

- Я сейчас, – сказал Сударь, – я вернусь через полчаса, мне в контору надо.
- Перекусите, – снова предложил скрипач.
- После, когда вернусь.
- Хорошо. Я еще побуду дома с часок.

Сударь нажал кнопку вызова лифта, но не смог дождаться, пока придет кабина, потому что все в нем дрожало от нетерпения. Он бросился вниз, перепрыгивая через три ступеньки. Таксист, стоявший у подъезда, ходил около машины, свирепый и молчаливый. Он с силой захлопнул дверь и сказал:

- Снова без чемоданов? Теперь мамы нет?
- Что, денег тебе мало? – спросил Сударь. – Мы еще только на трешницу наездили, а ты от меня пятерку получил. Давай обратно, там, где были.
- Что я, помню, где мы были?
- Гони, я напомним...

Росляков позвонил в дверь. Арон Маркович спросил:

- Кто там?
- Из домоуправления.
- У нас только что были из домоуправления.
- Откройте, – сказал Росляков тихо, – хотя бы на цепочке.

Арон Маркович открыл дверь. Валя уперся в нее коленом, чтобы тот не захлопнул, и показал свое удостоверение.

– Я из угрозыска. Скажите, у вас сейчас никто не был?

– Только что ушел слесарь, – шепотом ответил Арон Маркович.

– Откройте, пожалуйста, дверь, – попросил Росляков. – Не бойтесь же...

– Откройте же дверь! – крикнул Кока. – Старый конспиратор, Арон! Вы боитесь собственной тени.

Росляков вошел в квартиру и спросил:

– Он высокий, этот слесарь?

– Да.

– Черный?

– Да.

– В босоножках и в красной тенниске?

– Да.

– И чемоданчик у него был серый?

– Был.

– Можно позвонить?

– Конечно.

Росляков снял трубку, набрал номер ближайшей милиции и попросил:

– Это из спецгруппы Садчикова. Наши люди должны выехать из управления. Ваше отделение рядом. Подошлите сюда срочно оперативников. Да. Это Росляков. Да. Он уже здесь был.

Арон Маркович спросил:

– Кто «он»? Слесарь?

– Какой он, к черту, слесарь! Убийца.

Арон Маркович сел на табурет, жалко улыбнулся и сказал:

– Кока, налейте мне валокордина. Я же говорил... А мне никто не верил...

– Что вы говорили?

– Ах, это не вам... Это я говорил юноше в такси, а он так издевался надо мной, так издевался...

Самый верхний

Костенко подходил к подъезду, в котором жил профессор Гальяновский. Он даже не подходил, а, правильнее сказать, подбегал, потому что такси найти не смог, а если бы и нашел, то вряд ли уговорил бы шофера везти его в долг, без денег. Костенко думал, что Сударь должен быть где-нибудь рядом с домом, ожидая Читу. Но около дома никого не было, он это видел совершенно ясно, потому что шел по другой стороне улицы, чтобы был больший обзор. Когда он начал переходить улицу около подъезда, в десяти шагах перед ним заскрипела тормозами «Волга» с синими шашечками на дверцах. Из машины вышел Сударь. Костенко пошел следом за ним к лифту.

– Погодите, товарищ, – сказал он, – мне тоже наверх.

Сударь пропустил его вперед и спросил:

– Вам какой?

– Самый верхний.

Сударь закрыл дверь и нажал кнопку пятого этажа. Лифт медленно пополз вверх. Солнце то заливало кабину ослепительным желтым светом, то наступала темнота, когда начинался пролет. Пять раз солнце врывалось в кабину, и пять раз наступал тюремный сумрак.

На пятом этаже кабина остановилась, и Костенко увидел на площадке дверь. Она была прямо перед дверью лифта. На двери – медная пластинка: «Академик Гальяновский».

Сударь вышел из кабины лифта и, не оглядываясь, захлопнул за собой дверь. Костенко неслышно отпер ее и, быстро достав пистолет, тронул им Сударя.

– Тихо, – сказал он. – Руки в гору.

Сударь обернулся, будто взвинченный штопором, и полез в задний карман брюк. Костенко понял – пистолет. Тогда, быстро размахнувшись, он ударил Сударя рукояткой своего «макарова». Ударил так, чтобы оглушить. Сударь прислонился к стене, и руки у него обвисли. Костенко достал из заднего кармана его брюк пистолет, сунул себе за пояс и сказал:

– Подними чемодан.

Сударь открыл глаза и сонно посмотрел на Костенко.

– Не надо, Сударь, – так же тихо сказал Костенко, – не пройдет номер. Не надо мне лепить психа, не поверю... Поднимай барахло!

Сударь поднял чемоданчик. Костенко открыл дверь лифта и пропустил туда Сударя. Нашупав ручку, он, не поворачивая головы, захлопнул дверцу.

Нажал кнопку первого этажа, но, вместо того чтобы кабине пойти вниз, длинно и зловеще затрещал звонок тревоги. От неожиданности Сударь подался вперед. Костенко уперся пистолетом ему в живот и сказал:

– Пристрелю.

Не отводя глаз от лица Сударя, он перевел руку выше и снова нажал кнопку. Кабина пошла вниз. Из темноты пролета она спустилась к окну, и желтое солнце хлынуло в кабину стремительно и осветляюще ярко.

«Сейчас может начаться, – подумал Костенко. – Сейчас он может кинуться на меня, потому что я слеп из-за солнца».

Он сжал пистолет еще крепче и упер локоть в ребра.

Снова наступила темнота. Лицо Сударя выплыло, как изображение на фотобумаге, когда ее опускаешь в проявитель. Его лицо казалось Костенко смазанным, словно снятым при плохом фокусе.

«Сейчас снова будет солнце, – подумал он, – и еще три раза потом будет солнце, черт его задери совсем...»

– Убери пистолет, – попросил Сударь, – ребру ведь больно.

– Потерпишь.

– Убери. Я гражданин, я требую.

– Ты у тети Маши требуй. У меня просить надо, Сударь.

«Еще два раза я буду слепым. Потом надо будет выводить его. Мне нельзя поворачиваться спиной. Ага, я заставлю его обойти меня. Нет, не годится. Он решит, что я боюсь, и начнет драку. Стрелять нельзя, а он здоровее меня, сволочь».

Все. Стоп. Лифт, подпрыгнув, остановился.

Дверь распахнулась сама по себе.

«Неужели его человек?! – пронеслось в мозгу у Костенко. – Оборачиваться нельзя».

– Успел! – крикнул Росляков. – Это я, это я, Славка!

Костенко шумно вздохнул и сделал шаг назад.

– Давай топай, милорд, – сказал Костенко, – быстренько...

В кабинете Садчикова, после обыска, Костенко предъявил Сударю постановление на арест. Тот внимательно прочитал все, что там было написано, осторожно положил бумагу на краешек стола и сказал:

– Никаких показаний давать не буду, подписывать тоже не буду. Если хотите со мной поговорить, дайте марафета. Я иначе не человек.

– Наркотика ты не получишь, – сказал Костенко. – Это раз. Подписи нам твои не нужны. Это два. И показания – тоже. Это три. Понял?

- Ты меня на пушку не бери, я сын почетного чекиста.
- Ты сын подлеца, запомни это, и никогда впредь не смей называть своего отца чекистом.

Он им не был.

- Я вызову сюда прокурора.
 - Не ты, а я вызову прокурора.
 - Какое имеешь право называть меня на «ты»?
 - А ну потише, и не хамя. Все равно наркотика не получишь.
 - Я требую прокурора! Прокурора! Марафета! Прокурора! Марафета!
- Сударя прорвало – началась истерика.

Когда Садчикову рассказали про звонок из прокуратуры – требуют взять под стражу Ленюку Самсонова, – он хлопнул по столу папкой так, что подскочила телефонная трубка.

- Перестраховщики, – сказал он. – Ни ч-черта не понимают!

– Позвони к ним, – сказал Костенко. – Надо инициативу перехватить, потом может быть поздно, если он постановление выпишет.

- Ну и ч-что я с ним б-буду говорить?

– А ты с ним не говори. Ты с ним скандаль. Это иногда помогает. Особенно если правда на нашей стороне.

- Т-ты же знаешь – я не умею с-скандалить...

- Пора бы и научиться.

- М-может, ты позвонишь?

– Нет. Это надо сделать тебе. Ты – старший. Я готов идти вместе с тобой куда угодно, ты это знаешь. Но звонить надо тебе... Уважай себя... Уважай так хотя бы, как мы тебя уважаем...

Садчиков позвонил в прокуратуру:

– Послушайте, это С-садчиков говорит. Почему вы с-считаете нужным арестовать Самсонова?

- Потому что имело место вооруженное ограбление кассы.

- Х-хорошо, но при чем з-здесь Самсонов?

- Он был там с бандой.

- Н-ну был. По глупости.

- Вот вы и докажите, что это глупость. И пререкания тут излишни.

– Эт-то не пререкания, поймите. П-парня мы погубим, если его п-посадить. Он же верил нам. Он помог нам задержать бандитов...

Следователь прокуратуры был старым и опытным работником. Он считал, что лучше и безопаснее перегнуть палку, чем недогнуть ее. Так он полагал и ни разу за всю свою многолетнюю практику не ошибся. Во всяком случае, так ему казалось. И не важна, по его мнению, степень тяжести преступления – наказуемое обязано быть наказано. А что принесет наказание – гибель человеку или спасение, – это уже другое дело, к букве закона прямо не относящееся.

– Товарищ Садчиков, – сказал следователь, – мне кажется, не наше с вами дело корректировать законы. Они написаны для того, чтобы их неукоснительно исполнять.

– З-законы написаны для того, чтобы их и-исполнять, это верно, – ответил Садчиков, – но их правильно понимать надо, если речь идет о спасении семнадцатилетнего человека.

– Вы мне передовиц не цитируйте, я газеты сам читаю. Выполняйте мое предписание, а там разберемся.

- Б-будет поздно потом разбираться.

- Разобраться никогда не поздно.

- Д-до свидания.

- Пока. Когда вы его возьмете?

- Н-не знаю.

- Товарищ Садчиков, ваш ответ меня не устраивает. Я сейчас же позвоню комиссару.
- В-валяйте.

Садчиков осторожно положил трубку и снова выругался. И потом быстро поднялся и, не глядя на Костенко, выбежал из кабинета – к комиссару.

Комиссар держал трубку телефона плечом, а руки у него были заняты ремонтом зажигалки. Он дымил папиросой, слушал сосредоточенно, хмуро и лишь изредка повторял: «Ну, ну, ну...» Починив зажигалку, он перехватил трубку рукой и, перебив своего собеседника, сказал:

– Ерунду вы, милый мой, порете. Даже мне странно от вас это слышать. Ладно, хорошо, посадим Самсонова, успокойтесь, только я в данном случае согласен с Садчиковым, а не с вами и завтра же буду говорить с прокурором.

Потом взорвался:

– Да при чем здесь либерализм? При чем здесь ответственный папаша? Я б папашу с мамашей посадил, а не его! Вы его по карточке знаете, а я с ним целый день провозился! Ладно, хорошо, мы попусту тратим время. Я сказал, что посадим, но согласен в данном случае с Садчиковым и в понедельник буду драться. Вот так. Все.

Положил трубку, поднял голову, хмуро посмотрел на Садчикова и сказал:

- Придется его забирать. Ничего, посидит недельку, а там отобьем.
- Т-товарищ комиссар...
- Ну?
- Это ошибка.
- Пожалуй, что так.
- Неужели нельзя связаться с прокурором города?
- Его нет, я уже звонил.
- З-заместитель?
- Он тоже на совещании.
- Н-но вы в понедельник действительно будете за него драться?
- Боксерские перчатки приготовь.
- Товарищ комиссар...
- Ты меня не обхаживай, Садчиков, я не девушка. Выполняй то, что тебе предписано, и скорее заканчивай все с Читой и Сударем. Молодцы твои ребята, просто истинные молодцы.
- М-может, подождем с Ленькой до понедельника?
- Садчиков, я повторил тебе уже три раза – выполняй то, что предписано. Холку потом мне будут мылить, а не тебе. Так или не так?
- Так.
- Ну и топай. А потом отоспись, на тебе лица нет.
- Машину можно вызвать?
- Зачем?
- Леньку взять.
- Что у тебя, оперативных нет?
- Я за ним на оперативной не поеду.
- Психолог.
- П-приходится.
- Что, открытую «чайку» прикажешь подать? Долго ты будешь на моем долготерпении играть, а? Дам тебе «Волгу» и поступай так, как тебе подсказывает здравый смысл.
- Прошу р-разъяснить.
- У самого зубы есть – поймешь, если понять хочешь.
- Но я действительно не понимаю...
- Ну и плохо, если не понимаешь...

- Позвольте мне перепоручить это дело Костенко?
- А это как хотите, – сухо ответил комиссар.
- Р-разрешите идти?
- Р-разрешаю, – снова передразнил его комиссар и осторожно подмигнул левым глазом.

Успокоившись после истерики, Сударь поудобнее уселся на стуле и спросил:

- Что вы мне предъявляете? И с кем я вообще имею честь беседовать?
- Вам документы показать или, быть может, поверите на слово?
- Москва словам не верит.
- Это что, вы – Москва?

Росляков засмеялся, а Костенко сказал:

- Ну извини, Сударь, извини...
- Моя фамилия Росляков, я старший инспектор.
- А я – Костенко.
- Звучит, прямо скажем, грозно. Только Костенко – не Олег Попов, мне бы еще и должность.

- Начальник балетной школы.
- Странно. Начальник – и вдруг занимается такой мелкой сошкой, как я.

Садчиков изучающе разглядывал Сударя. Потом зло спросил:

- Ну, в м-молчанку долго будем играть?
- До конца.
- Это к-как понимать?
- Как угодно.
- С Читой хочешь повидаться?
- Не знаю никакого Читы.
- Н-надо говорить «никакую», чудачок, – усмехнулся Садчиков. – Откуда знаешь, что

Чита – мужик, а не мартышка?

- По наитию определил.
- В-веселый ты парень. За что Витьку убил?
- Что?
- Л-ладно, ладно, глазки мне не делай. Я спрашиваю, за что ты у-убил Витьку?
- Да я никакого Витьки не знаю.
- Ганкина не знаешь?
- Не знаю.
- Ш-шофера не знаешь?
- Не знаю.
- И Надьку не знаешь?
- И Надьку не знаю...
- А чемодан твой поч-чему у Ганкина в пикапе лежал?
- Вот спасибо родной милиции! У меня как раз неделю назад чемодан сперли.
- Ж-жулики?
- А кто же еще! Плохо вы с ними боретесь... Кривая преступности ползет вверх. Стыдно, милиция, стыдно. А невинных берете.

- Невинный – это ты? – поинтересовался Росляков.
- Я.

Костенко сказал:

- Ну извини, Сударь...
- Я-то, может, извиню, а прокурор вас по головке не погладит.

Росляков отпер шкаф и достал оттуда ботинки, изъятые у Сударя во время обыска. Следок следа возле убитого милиционера Копытова был явно с этих ботинок.

– Это ваши? – спросил Валя.

Сударь равнодушно посмотрел на ботинки, но Садчиков заметил что-то стремительно-быстрое, пронесшееся у него в глазах.

– Что же вы молчите?

– Т-ты отвечай, Сударь.

– Нет, вроде бы не мои, – сказал Сударь, – нет, точно не мои. Я такую обувь не ношу.

– Что, плоскостопие? – поинтересовался Костенко.

– Да.

– Ладно, сделаем экспертизу.

– А зачем ее делать? Мы ведь беседуем, протокола у нас нет...

– Н-ну что ж, з-значит, не будем делать экспертизы. Только ботинки у тебя в квартире изъятые, в присутствии понятых, понимаешь ли...

– У меня к тебе несколько вопросов, – сказал Костенко.

– Да нет, – улыбнулся Сударь, – это у меня к вам один вопрос: на каком основании я арестован? Что за произвол?

– Ага, – сказал Костенко, – произвол, говоришь? Плохо дело. Произвол – это нехорошо. Тогда ступай отдохни в камере.

– Отвечать вам придется, – повторил Сударь, – за арест невинного человека придется вам отвечать.

– Не то с-слово говоришь. За «невиновного» надо говорить. Н-невинный – это из другой серии.

Росляков вызвал конвой, и те пять минут, пока ждали конвойных из КПЗ, все три товарища сидели вокруг Сударя и спокойно разглядывали его. Садчиков – всего его, Костенко – лицо, а Росляков – руки. Сударь глядел на них и улыбался краешком рта. Только левое веко у него дергалось – чуть заметно, очень быстро. А так – спокойно сидел Сударь, совсем спокойно, здорово сидел.

– Завтра с утра побрейся, – посоветовал ему Костенко, – мы тебе парикмахера вызовем. А то из касс опознавать придут, из скупки тоже, жена Копытова – старичка-милиционера на тебя посмотрит, жена Виктора, которого ты сжег сегодня, – им всем надо посмотреть на тебя.

Сударь раздул ноздри, замотал головой и начал быстро повторять:

– Марафета! Марафета мне! Марафета дайте!

Костенко и Росляков пошли из управления пешком. Весна сделала город праздничным. Свет в окнах казался иллюминацией. В высоком белом небе загорелись первые звезды.

– Слушай, Слава, давай пойдём в консерваторию, а?

– Ну, давай.

Билетов в кассе не оказалось, у барыг купить они ничего не смогли, а дежурный администратор только развел руками. На всякий случай он спросил:

– А вы, собственно, откуда?

– С Мосгаза, – ответил Росляков, – молодые инженеры.

– Увы, дорогие товарищи инженеры, ничем вам помочь не смогу.

Когда они вышли на улицу, Росляков сердито чертыхнулся:

– А сказать ему, что мы из розыска, сразу б дал билеты.

– Контрамарки б дал.

– С контрамаркой себя чувствуешь бедным родственником. Я пару раз сидел по контрамарке. То и дело гоняли с места.

Костенко посмотрел на Рослякова. Он был невысок, с виду худощав, в очень модном костюме с двумя разрезами на пиджаке, в остроносых туфлях, начищенных до зеркального блеска, с университетским значком на лацкане. Когда Костенко кончал юридический факультет, Росляков поступал на первый курс. На факультете много говорили про него. Росляков был тогда самым молодым мастером спорта по самбо. Когда он пришел в управление и попал в группу Садчикова, первый же вор, с которым ему пришлось «работать», сказал:

– Чего вы мне стилиягу подсунули? Я фертов не уважаю.

Валя тогда очень рассердился, но себе не изменил, на работу он ходил по-прежнему в невероятно модном костюме; с ворами всегда говорил на «вы», был предельно вежлив, и только однажды, когда забирали одного бандита, который оказывал вооруженное сопротивление, он так скрутил ему руку, что тот потерял сознание, а придя в себя, сказал:

– Начальник, вы – ничего себе. В законе. Я вас уважаю за силу.

Это стало известно в уголовном мире, и с тех пор Валию там побаивались.

– Ну, что дальше? – спросил Костенко. – Плакала твоя консерватория.

В управлении знали эту страсть Рослякова. Треть своего оклада он тратил на консерваторию и Зал Чайковского, не пропуская ни одного сколько-нибудь интересного концерта. Началось это у него случайно. Однажды, еще учась в университете, он пошел послушать концерт Евгения Малинина. Тот играл Равеля, Скрябина, Шопена. Сначала Валя сидел в кресле спокойно, но, когда Малинин стал играть Равеля, его пьесу о море и утре, об одиночестве на песчаном берегу, когда вокруг никого нет и только далеко-далеко видны рыбацкие сети, черные на белом песке, Валя вдруг перестал чувствовать музыку, но ощутил ее в себе. И музыка заставила его видеть все так, словно это происходило наяву, именно сейчас и только с ним одним.

Росляков сидел в кресле напряженно, поджавшись, а когда пианист кончил играть, Валя весь обмяк и ощутил огромную блаженную усталость. А потом был «Революционный этюд» Шопена, и мурашки ползли у Вали по коже, и дышалось ему трудно, потому что стремительной кинолентой шли у него перед глазами видения – его видения, понятные только одному ему и совсем не совпадавшие с тем, что было написано в маленьких брошюрках, которые билетеры продают у входа.

– А ты, конечно, хотел бы на «Дядю Ваню»? – спросил Росляков.

Когда люди проработали бок о бок три года, они научились хорошо и точно чувствовать друг друга. Как-то Костенко рассказал друзьям про то, как они с Машей пошли во МХАТ на «Дядю Ваню». Доктора Астрова играл Ливанов. Он говорил с Соней ночью в большой комнате, и в окнах было синё, и Костенко казалось, что где-то рядом поет сверчок. «Знаете, – говорил Астров, – когда идешь темной ночью по лесу, и если в это время вдали светит огонек, то не замечаешь ни утомления, ни потемок, ни колючих веток, которые бьют тебя по лицу...»

Костенко сжал руку жены и подумал: «Это про меня тоже». И потом, когда ему делалось плохо или не ладилось на работе, он шел во МХАТ на «Дядю Ваню», но только обязательно чтобы с Ливановым, и уходил со спектакля радостным и спокойным, потому что большая мысль всегда рождает доброту и спокойную уверенность.

– На «Дядю Ваню» идти нет смысла. Там не Ливанов сегодня, – сказал Костенко. – Айда по домам, старик.

– Ну уж это кто куда, – ответил Валя, – я человек молодой и свободный.

Должностное преступление

Дверь Костенко открыла Людмила Аркадьевна.

– Вы оттуда? – спросила она, побледнев.

– Да, оттуда, – ответил Костенко. – Ленька сейчас дома?

– Нет, они с отцом на даче.

- А где дача?
- В Звенигороде.
- У реки?
- Нет. Как раз наоборот.
- Мне не нужен адрес, да и вы толком его не помните, потом вы больны и поэтому не сможете со мной туда проехать, да?
- Я ничего не понимаю.
- Все очень просто. Я к вам приехал, мне нужен Ленька. Вы запоминайте, что я говорю, слышите? А его дома нет, и вы больны, а потому не смогли поехать со мной, точного адреса не знаете, да?
- Вы хотите арестовать мальчика?
- Я не хочу...
- Но вас заставляют?
- Вы запомнили то, что я вам сказал?
- Да.
- Пойдите выпейте воды...
- Ничего.
- Пойдите выпейте воды, успокойтесь и слушайте дальше.
- Я слушаю.
- И не вздумайте устраивать сцен парню.
- Как вы можете так говорить со мной?
- Могу. Если бы не мог, не говорил. Когда я уйду, попозже вечером возьмите такси и поезжайте в Звенигород. Скажите Самсонову, но так, чтобы Ленька не слышал, пусть до вторника он будет на даче. Пусть он ни в коем случае не возвращается в Москву.
- Но у него в понедельник экзамен...
- Вызовите врача – не мне вас учить. Со справкой поезжайте в школу. Ясно?
- Да.
- В понедельник вечером я зайду.
- Боже мой...
- Все будет хорошо.
- Боже мой, боже мой...
- Ну, нечего вам, Людмила Аркадьевна. Извините меня, но вы сами во всем виноваты.
- Я знаю, – тихо ответила женщина.
- Неужели такие нужны встряски, чтобы понять?
- Я знаю, – повторила она, – я все сделаю, как вы сказали, не сомневайтесь. Чем я только смогу вас отблагодарить?
- С ума только не сходите. До свидания.
- До свидания. Спасибо вам. Огромное, великое вам спасибо.
- Да ладно, господи, – рассердился Костенко и, не попрощавшись, ушел, совершив должностное преступление.

Эх, женщины, женщины...

Садчиков вернулся домой поздно вечером. Загар его был, казалось, смыт – такой он стал бледный и серый. К тому же Садчиков оброс за эти два дня, и колючая щетина делала его лицо не по годам старым.

Сняв пиджак, он прошел в ванную и долго мылся холодной водой. Потом так же долго вытирался шершавым полотенцем, глядя на себя в зеркало.

«Я же седой, – подумал он. – Какая нелепость: седой, старый, а продолжаю считать себя молодым и с Валькой на „ты“».

– Хочешь есть? – спросила Галина Васильевна.

– Не очень.

– Уже обедал?

– Если бы...

– Ляг отдохни. Я сейчас приготовлю кровать.

– Ничего, я так...

– Зачем же? Ложись по-настоящему.

– А ты?

– У нас тетя Валя. Мы смотрим телевизор. Интересный фильм, польский...

– У них хорошие к-картины. Сейчас я переоденусь и выйду к т-тете Вале. Только минутку отдохну.

«Надо пойти поздороваться с тетей Валей, – подумал он, – иначе старуха обидится и будет пилить за меня Галю. Но она сразу же начнет рассказывать про свои болезни, а я не могу, когда она талдычит о болезнях».

Садчиков слышал, как за стеной сердитый телевизионный голос ругал кого-то, и ему было смешно слышать эту ругань, потому что ругайся так все, было бы удивительно спокойно работать в МУРе. Телевизионная ругань злых киношных героев – мечта любого сыщика.

«Надо бы выйти к старухе», – еще раз подумал Садчиков и выключил свет.

Передача шла, по-видимому, очень долго, потому что, когда легла Галя, в квартире было тихо и слышалось, как по улице, гулко топоча острыми каблучками, пробегали девушки из студенческого общежития.

Садчиков секунду лежал с закрытыми глазами. Он всегда думал лежа с закрытыми глазами, чтобы ничего не видеть и не отвлекаться, размышляя об увиденном. Потом он обернулся к Гале и обнял ее.

Он лежал, обнимая жену, и по-прежнему ясно, будто на экране кино, видел парня, сожженного в комнате. А потом он представил себе Леньку, стриженного наголо, без пояса, без шнурков, в камере, среди бандитов... Костенко, наверное, уже привез его в КПЗ и сдал дежурному офицеру, и мальчишка стал белым, и от волнения у него заledenели кончики пальцев...

Все эти видения пронесли у него перед глазами, и на душе стало так пусто и горько, что Садчиков порывисто вздохнул и начал искать рукой на столике папиросы. Папирос не было, а у него не хватало силы заставить себя подняться и пойти за ними в другую комнату.

– Может быть, ты скажешь мне что-нибудь? – спросила Галя.

– Что?

– Ну, я не знаю...

– Не сердись т-только, Галочка. Я очень устал. Понимаешь? Сил нет, как устал.

Садчиков ничего не мог с собой поделать. Он не мог сейчас думать ни о чем другом, кроме как об убитом парне. Садчиков видел его желтые пятки и ослепительный оскал зубов. Он все это видел, но не мог, не имел права говорить обо всем этом Гале, потому что раз уж он взял на себя великую муку бороться со зверством, так, значит, все это надо держать в себе самом. Если есть сила. Если нет – тогда надо просто уходить в какую-нибудь канцелярию и регистрировать дела. Ужасы, которые он видит, должны умирать в нем одном: иначе какой же смысл сидеть в управлении? Репортер скандальной хроники играет на нервах читателей. А Садчиков хочет сделать так, чтобы этой проклятой игры вообще не было. Для этого он и сидит в управлении и дерется за каждого человека. А ужасы, которые он смотрит во время этой драки, убивают любовь, они противны самому желанию любить. Они заставляют человека напрягаться до предела, для того чтобы победить в борьбе со зверством.

– Ты, Галка, н-ничего не знаешь, – сказал Садчиков и снова обнял ее. – Совсем ничегошеньки, и слава богу, что ты ничего не знаешь...

Галя отодвинулась от него и усмехнулась:

– Так уж и ничего? Кое-что я, наверное, все-таки знаю...

Костенко отдыхает

«Милые мои девчата!

Сижу чищу себе картошку на ужин и сочиняю вам письмо. Я тут закончил одну работу и думаю, что дня через два меня отпустят отдыхать. Сразу еду к вам. В общем, у меня все в порядке. С квартирой пока плохо. Обещают на зиму. Вот так-то. Как там Аринушка моя маленькая? Я просто не представляю себе, как мы жили раньше без нее. Толстой писал, что ребенок делает человека более уязвимым. Так только своя боль и забота, а здесь махонькое существо, за которое ты в ответе перед миром. А посему, писал Толстой, надо иметь по крайней мере трех, а не одного ребенка. Любопытно, как ты к этому его мнению отнесешься? Должен тебе признаться, что мое мнение полностью совпадает с мнением классика.

Да, неделю назад меня, между прочим, затащил к себе Митька Степанов. Он читал мне и Левону Кочаряну главу из своей книжки. Вообще-то, ничего, но только много сочиняет. Что-то сейчас пошла мода на сочинительство. Чтоб не так, как бывает на самом деле или на самом деле было, а именно так, как хочется писателю. Левон, правда, хвалил, ты знаешь, Левушка никогда душой не кривит. Черт его знает, быть может, у меня после работы в милиции выработалась чрезмерная придирчивость по отношению к недостаточности доказательств? В нашем деле истина должна быть абсолютной. Иначе прокуратура завернет дело. Или суд. Может быть, впрочем, если писатель станет выписывать абсолютную истину, его работу завернет читатель? Она ведь вроде милицейского протокола, эта самая абсолютная истина... Потом пришел Ларик Влас. Веселый и маленько пьяный. „Я, говорит, уникальную кость из глотки старухи вытащил. Ругалась с золовкой и подавилась. Так ведь, говорит, ругаться не могла, задыхалась и полезла на золовку драться. Мычит и дерется...“ Ларик тоже послушал Митькин рассказ и посоветовал ему переключаться на детектив. „Это хоть читают, Мить, – сказал он, – в детективе хоть заранее неизвестно, что будет. Самый-то конец, конечно, известен – изловят супостатов, зато очень интересно читать, как за ними гоняются“. Потом мы сообразили холостяцкий ужин, наварили полную кастрюлю макарон, и писатель поставил две бутылки „пива с быком“, что на языке алкоголиков означает „зубровку“. Тебе от всех ребят привет. Митька считает тебя образцово-показательной женой. „Женщина, которая оставляет мужа одного на все лето, – святая, – сказал он. – Надя меня оставляет максимум на два дня, но при этом по десять раз звонит, проверяет, где я“.

Пожалуйста, напиши мне поскорее. Целую вас обеих. Люблю вас очень. Очень люблю вас. Скучаю. До свидания. Слава».

Росляков и Алена

Валя зашел в автомат. Позвонил девушке, с которой как-то вместе сидел на литературном вечере в Политехническом музее. Девушку звали Алена. Она училась на четвертом курсе филфака, ругала жизнь и ничего не хотела. Так она, во всяком случае, говорила Рослякову.

– Слушаю...

– Можно Алену?

– Это я.

– Здравствуйте, Росляков.

– Кто?

- Ну, это я... Валентин...
- А, это с которым мы сидели на диспуте?
- Да. Что вы делаете?
- Ничего. Сижу и думаю, как было бы хорошо выпить.
- А что вы пьете?
- Все.
- Предпочтение есть? Водка, вино, коньяк?
- Я пью все, – повторила Алена.
- И политуру?
- Что?
- Валя засмеялся.
- Значит, не все. Политуру не пьете.
- С удовольствием попробую.
- Говорите ваш адрес.

Валя купил бутылку коньяку и конфет. Алена жила рядом, и он сразу же нашел ее дом. Она открыла ему и сказала:

- Входите.
- Спасибо.
- Я всегда боюсь встречать человека во второй раз...
- Почему?
- Разочароваться можно...
- Вы что – одна здесь?
- Одна. Знаете, как тоскливо жить одной в квартире!
- Отдайте часть моему другу. У него неважно с жилплощадью.
- Я – пожалуйста. Предки против. Они у меня из породы консерваторов.
- А где предки?
- У синего моря. Если вам жарко, снимайте пиджак.
- А я и снимаю.
- Это, наверное, ужасно глупо, что я вас пригласила, да? Вы думаете обо мне черт знает

что.

- Точно.
- А какая разница, в конце концов?
- Тоже верно.
- Сейчас я принесу штопор.
- Не надо. Смотрите, это делается так, – сказал Валя и ладонью вышиб пробку.
- А я умею полоскать горло коньяком.
- Не может быть!
- Честное слово. Смотрите.

Она налила коньяк в рюмку, сделала глоток и, скосив глаза, начала полоскать горло. Нос у нее сморщился, как у человека, который принимает горькое лекарство, а глаза смотрели на Валью победно и выжидающе.

- Здорово, – сказал Росляков. – Еще раз, пожалуйста.
- Какой хитрый, – улыбнулась Алена, – я только раз могу.
- Ну извините...
- Что?

– Ну извините, говорю... Это такая присказка у моего товарища есть.

– Только, пожалуйста, не начинайте мне рассказывать про своего товарища. Почему-то все всегда рассказывают про своих друзей и знакомых и никто не хочет говорить про себя.

- Про себя – нескромно.
 - Это только так кажется. И потом, если себя хвалить, то, конечно, нескромно. Я вот себя ненавижу и поэтому всегда о себе говорю. Вы себя любите?
 - Люблю.
 - Вы счастливый. А что вы делаете?
 - Пью коньяк.
 - Нет, а вообще?
 - А вообще учусь.
 - Где?
 - В педагогическом.
 - Почему я вас там не видала?
 - Я на заочном.
 - На каком курсе?
 - На последнем.
 - Интересно?
 - Очень...
 - Счастливый человек... Вас как уменьшительно зовут?
 - Валя...
 - Среднее имя. Не мужское и не женское.
 - Ну все-таки мужское.
 - Вы обиделись?
 - Ужасно.
 - А почему вы ко мне пришли?
 - Потому что мне захотелось к вам прийти.
 - Пейте коньяк.
 - Я уже.
 - Пейте еще.
 - Хорошо.
 - Ну, так почему же вы пришли ко мне? Для того, чтобы говорить со мной, слушать музыку и смотреть альбомы?
 - Хотя бы.
 - Вы все врете.
 - Может быть. Но если я вру, тогда вы уже совсем пьяная.
 - Нет еще. Когда я стану пьяной, вы начнете раздевать меня.
 - Обязательно?
 - А зачем вы тогда приходили?
 - Что это вы злая такая?
 - Разозлили...
 - Кто?
 - Люди.
 - Я лучше уйду, наверное?
 - Почему?
 - Да так. Чтоб больше не злить.
- Он поднялся и пошел к двери. Отпер ее. Хотел выйти, но Алена взяла его за руку и сказала:
- Я просто дрянь, не обращайтесь на меня внимания.
 - Ты дрянь? – улыбнулся он, обернувшись. – Ты просто дуреха...
- Она кивнула головой. А потом ткнулась лицом ему в грудь, и плечи ее затряслись. Росляков стал гладить ее по плечам и по голове.

– Ну, не надо, – говорил он, – не надо, дурачок. Это все ерунда, не надо так плакать, не стоит...

– Стоит, – сказала она, – стоит, потому что я за все плачу. Сейчас, я скоро перестану, только ты не уходи.

– А я и не собираюсь.

Она посмотрела на него сквозь слезы и жалко, по-детски улыбнулась...

Только не двое

Ночью Садчиков разбудил телефонный звонок.

– Прости меня, – сказал комиссар, – тут один любопытный сигнал поступил.

– Еду.

– Погоди, разбежался... Такси сейчас не найдешь. Шофера пришлю.

– Я спущусь. На улице подожду...

– Дождь. Погоди, он подыметесь за тобой.

– М-михайлыч?

– Он самый...

Садчиков положил трубку, оделся, стараясь не шуметь, и пошел на кухню. Зажег конфорку, поставил чайник и начал делать бутерброды – себе и Михайлычу. Масло в холодильнике было до того смерзшееся, что не резалось, а крошилось желтыми ажурными стружками.

...Михайлыч всегда стучал в дверь. Он понимал, что звонок ночью переполошит всех в квартире, поэтому стучал условным, известным всем в управлении стуком – три раза быстро, а четвертый долго и гулко.

– М-михайлыч? – тихо спросил Садчиков.

– Михайлыч, – ответил тот.

Садчиков отпер дверь и сказал:

– З-заходи, старина.

– Да ничего, – ответил Михайлыч, входя.

– Пошли чайку попьем.

– Да не стоит.

– Л-ладно, ладно, будет кокетничать...

– Хорошая из меня кокетка.

– С с-сединай куда как л-лучше. Сейчас, говорят, с-седые мужчины в моду вошли.

– Седина в голову, бес в ребро.

– Р-ребра перебиты, какой там, к ч-черту, бес... Ешь б-бутерброды.

– Да ничего...

– Л-ладно, наваливайся, сам, наверное, только чаем и питался ночью.

– Почему чаем? Сухарь грыз.

– Пусть м-мышь сухарь грызет, ч-человеку сливочное масло надобно.

– Это истина, это вы очень верно подметили.

Садчиков засмеялся и стал наливать чай – дымный и пахучий – в большие красные чашки.

Комиссар пригласил Садчикова садиться и, поглаживая себя по животу, сказал:

– Мне сейчас анекдот смешной рассказали.

– А вот интересно, кто анекдоты выдумывает? – спросил Садчиков.

– Люди, – ответил комиссар, – кто ж еще?

– Не иначе как писатели.

– Журналисты, скорее, я думаю.

– П-почему журналисты?

– А у них времени больше. Писатели трудяги, спину гнут, а журналист – он просвет имеет. Да и потом парни они веселые и по бритве – вроде нас – ходят. А когда веселье, тогда и анекдоты рождаются.

– П-похоже, – сказал Садчиков, – очень может быть. Или веселье, или злость. Похоже.

– «Похоже», – передразнил комиссар. – Что я тебе, Алейников? Похоже на фотографии выходит, а я тебе мысль излагаю самостоятельную, ни на что не похожую, мил душа...

– Ну-ну, извините, – сказал Садчиков по привычке и сразу же понял, как не к месту сказал он эту свою шутивную фразу.

Комиссар внимательно посмотрел на него, хмыкнул и ответил:

– Да нет, ничего...

И оба они враз засмеялись, весело глядя друг на друга.

– Слушай, – сказал комиссар, – ты думаешь, что с Сударем все?

– Д-думаю, нет.

– Почему?

– Потому что вы м-меня про это спрашиваете.

– Умный, черт.

– А к-как же иначе?

– Иначе нельзя.

– В том-то и дело.

– Ну, шутки побоку. Парень к нам позвонил, футболист. Александр Пашков, с покойным Ганкиным в одном доме живет. Так он за полчаса перед убийством шофера там старичка видел какого-то. Старичок его заметил и отпрянул от окошка, а это значит – умный старичок. В электричке он ехал с футболистом, до Тарасовки, понимаешь, ехал... Вот штука какая... Проездной билет контролеру предъявлял. Как тебе это понравится?

– Очень м-мне это не нравится.

– Мне тоже.

– М-может, вызвать Читу? П-побеседуем с ним...

– Неудобно. Поздно уже... Как у вас с ним дела?

– Р-работаем...

– Ясно, что не танцуете... В группе у тебя все в порядке?

– Один мой сотрудник с-скоро с женой разведется.

– Кто?

– Костенко.

– Дама – сволочь?

– Н-нет, райжилотдел.

– Испугал. Я с райжилотделом ни черта поделать не могу, это, мил душа, выше моих сил.

– К-костенко с женой в разных квартирах ж-живет уже второй год...

– Любить будет крепче.

– Х-хорошо шутить.

– Ты меня еще постыди, Садчиков.

– Оп-пасно.

– Опасно блох ловить, шума много будет и с кровати можно упасть... Звонил я уже в исполком. Обещают к зиме дать ему жилье.

– Третью з-зиму обещают.

– Хорошо, что не четвертую. Мне важней, чтоб сначала рабочему квартиру дали. Потерпит твой Костенко, потерпит.

– К-костенко потерпит, товарищ комиссар, а дочка у него, Аришка, – ей про терпение не объяснишь.

– А Чуковский зачем с Михалковым? Пусть они ей растолкуют. «Муха, Муха-цокотуха, сейчас с квартирой заваруха». Ничего стихи?

– Г-гаврилада.

– Дерзкий ты стал, Садчиков, не иначе как меня подсиживаешь.

– Товарищ ком-миссар...

– Знаю я вас, молодых...

– Да я уж с-седой...

– Велика важность. Седой – не лысый. Зови Читу, черт с ним, пускай потом прокуроры стружку снимают за неурочный допрос – одной стружкой больше, одной меньше, все одно плохо. Да, кстати, Самсонова взяли?

– Нет.

– Почему?

– Дома никого нет.

– Где они?

– Н-неизвестно.

– Эмигрировали, что ль?

– Вряд ли.

– Сам ездил?

– Костенко.

– Завтра заberi. Сам.

– Завтра выходной день, товарищ комиссар...

– Смотри, Садчиков...

– Т-только этим и занимаюсь, товарищ комиссар. Вы в понедельник обещали быть у прокурора.

– А если откажет?

– Федерация есть.

– Ну а и она?

– Генеральный!

– Он тоже?

– Н-не может быть.

– А если?

– Н-не может быть, товарищ комиссар.

– А не фетишист ли ты, майор?

– Г-где уж нам уж выйти з-замуж!

– Смотри, в понедельник изволь мой приказ выполнить – парня заberi.

– Ясно, будет сделано.

– Шутник ты, Садчиков.

– С-стараюсь.

Комиссар поднял трубку, нажал белую кнопку селектора и попросил:

– Из шестнадцатой ко мне Назаренко приведите.

Ночной разговор

Заспанный Чита вошел в кабинет боком и остановился у двери.

– Проходи, проходи, – сказал комиссар, – садись...

– Не беспокойтесь...

– Это ты беспокойся, хороший мой, мне беспокоиться нечего. – Комиссар неторопливо закурил, долго и лениво тушил спичку, а потом неожиданно спросил: – Где ваш дед, кстати, живет?

- Какой дед?
 - Не играй, Чита, – сразу же включился Садчиков, – актер из тебя п-плохой, просвечи-ваешься сразу. Где старик?
 - Какой старик?
 - Который машину вам доставал...
 - Прохор?
 - Да.
 - Я его адреса не знаю.
 - Что ж ты, неполноправный какой?
 - Да нет. Сударь тоже не знает.
 - Уж и так...
 - Точно.
 - На, пей чай. С сахаром, – предложил комиссар. – В камере небось так густо не кладут?
 - Что вы...
 - Вон печенье. У меня от ужина осталось. Домашнее, на сливочном масле. Бери парочку.
 - Благодарю вас.
 - Воспитанный ты, парень, – усмехнулся комиссар, – дипломат просто-напросто... Ну а как ты думаешь, где он может жить?
 - Он, вообще-то, за городом, мне кажется. А можно еще печеньице?
 - Что, оголодал?
 - Да, несколько...
- Комиссар снова хмыкнул и покачал головой.
- Прямо дивлюсь на такого деликатного вора. Приятно говорить – видно воспитанного человека.
 - Я не вор.
 - А кто же ты? Священник? Или, может, врач-общественник?
 - Я советский гражданин, товарищ комиссар, я глубоко ошибся и за это несу сейчас раскаяние.
 - Нести куль можно, раскаяние – не удержишь, это тебе не мешок с опилками.
 - Нет, товарищи, – вздохнул Чита, – я ошутимо чувствую, как тяжело раскаяние.
- Комиссар поморщился и сказал:
- Знаешь что, Чита? Иди-ка ты напрочь со своим раскаянием. Я вашего брата тридцать пять лет ловлю, и все одну пластинку крутят, когда ко мне попадают. Брось. Скучно, и не верю. В тюрьме посидишь, баланду пожрешь – вот тогда раскаяние к тебе придет. Вот тогда ты головой о нары биться начнешь. Выть воем будешь: «Чего мне, дураку, не хватало? Квартира была, костюм был, заработок был. Девки любили!» Ан нет, все побольше грабануть хочется. Вот тебе и отольется. Это я так говорю, если на тебе милиционер не висит. Если Копытов на тебе – вышку получишь, не иначе.
- У Читы сразу же затряслись руки.
- Я не знаю никакого Копытова, я не убивал милиционера, я вообще никого не могу убить.
 - Чем ты д-докажешь свое алиби? – спросил Садчиков. – Где ты был в ночь убийства?
- Чита стал ломать свои длинные пальцы, поднеся их к подбородку.
- Сейчас, сейчас я вспомню. Только погодите одну минуточку. Сейчас. Ну да, конечно, я в ту ночь был у Наденьки...
 - В какую? Откуда ты з-знаешь, в какую ночь был убит Копытов?
 - Я не знаю...
 - Врешь. Отвечай быстро! Смотри в глаза!
 - Только не бейте меня!

Садчиков засмеялся.

– Д-да кто об тебя р-руки станет марасть? Наслушался глупостей о нас и пошел истерику выкручивать. Т-ты лучше мне ответь на вопрос.

– Вы не спрашивайте так строго. Я не могу, когда строго.

– Чита, тебе Сударь говорил про убийство? Отвечай правду.

– Клянусь жизнью – нет! Он мне только дал пистолет.

– А какой из себя Прохор, Чита? Опиши-ка нам его...

– Обыкновенный. Старичок. С палкой ходит и говорит вроде как блаженненький. Он мне и дал...

Чита осекся, потому что понял: скажи он слово – и полетит к чертям версия о пистолете, купленном на вокзале. Садчиков, как показалось Чите, ничего не заметил, а комиссар что-то писал на листке бумаги и, казалось, вообще в разговоре не участвовал.

– Ч-чита, скажи-ка мне вот что... Старик Прохор с какого вокзала приезжал?

– Вроде бы с Курского. Он там нам встречу назначил.

– Это-то за день перед задуманным грабежом профессора и скрипача?

– Да.

Комиссар оторвался от своих бумаг и спросил:

– Именно там, у Курского, Прохор и дал тебе пистолет?

– Какой пистолет?

– Смотри в глаза!

– Я... смотрю...

– Ну!

– Ой, не надо так смотреть на меня...

– Отвечай!

– Я не знаю...

– Да или нет?

– Нет...

– Врешь! На рукоятке есть следы пальцев Прохора!

– Этого не может быть! Он в перчатках...

– Вот это другой разговор, – улынулся комиссар, – а то «нет, нет»!

– Дурак! – закричал Чита и стукнул себя кулаком по голове. – Осел!

– Верно, – согласился комиссар. – Давай еще себя побей только не до синяков, а то с меня голову снимут.

– Что мне теперь будет? Расстрел? Скажите мне правду, я умоляю вас! Только скажите мне правду! Спасите меня, я буду во всем вам помогать! Я буду все рассказывать обо всех, только защитите меня!

– Заслуженный артист, – сказал комиссар, – тебе только Смердякова в театре играть. Не кривляйся! Если на тебе нет крови милиционера, если твои доводы подтвердятся, ты будешь жить.

– Вы правду говорите?

– А какой резон мне врать, сам посудите?

Чита улыбнулся белой, вымученной улыбкой и перестал ломать пальцы.

– Да, да, – сказал он, – какой вам резон...

– Ч-чита, – спросил Садчиков, – ты сможешь узнать Прохора по фотографии?

– Конечно.

– Он по ф-фене ботает?

– Нет, он как поп изъясняется.

– Матом ругается?

– Нет, я не слыхал ни разу.

- Так. Хорошо. Ну а Сударь будет о нем говорить, как думаешь?
- Нет. Он вообще ни о чем говорить не будет. Вы его не знаете – он же зверь, железо, а не человек.
- З-заговорит, – пообещал Садчиков, – и н-никакая он не железка. Он ржа по-одзаборная. Завтра у т-тебя с ним очная ставка будет.
- Не надо.
- Б-боишься?
- Нет, не боюсь, но все-таки не надо...
- Надо, милый, надо, – сказал комиссар, – так что ты мужайся. И чтоб без штучек мне. Без фортелей. Вот ручка, бери печенье, пей чаек, сиди и пиши мне все про дедушку Прохора. Подробно пиши, бумагу не жалеи. Усек, Чита?
- Усек, товарищ комиссар.
- Ну тогда молодец. И запомни – гусь свинье не товарищ, так что ты меня впредь гражданином величай.
- Простите, гражданин комиссар.

А Сударь-то наглец

Когда Читу увели в камеру, комиссар внимательно прочитал все написанное им, а потом передал Садчикову. Покачал головой, отошел к окну, закурил. Серый рассвет делал небо бездонным и близким. Было слышно, как дворники подметали улицы.

Сударь в камере не спал и поэтому, когда его привели на допрос, глядел волком и на комиссара, и на Садчикову.

- Здравствуй, – сказал комиссар, – садись.
- Сударь, подвинув к себе стул, сел.
- Благодарить надо.
- Спасибо.
- Что, не спится?
- Почему... Спится.
- Физиономия у тебя больно бодрая.
- От характера.
- Ш-шутник.
- А это от положения. В моем положении только и шутить.
- В твоём положении плакать надо, Ромин. Горючими слезами плакать.
- Москва слезам не верит.
- Это тоже правильно. Все на себя берешь?
- Что именно?
- Все.
- Я на себя ничего не беру. И если вы хотите со мной говорить по-человечески, прикажите, чтобы марафету дали.
- А еще чего хочешь?
- Больше ничего. Только я без марафета не человек, зря время тратим.
- Ч-человек, человек, – успокоил его Садчиков, – самый настоящий ч-человек.
- Что касается настоящего, – поправил комиссар, – то здесь я крупно сомневаюсь. Ну, Ромин? Милиционера на себя берешь?
- Тяжело.
- Да, пожалуй. Ну а кассу и скупку берешь?
- И еще Дом обуви, – усмехнулся Сударь, – там калоши понравились.

– Ах, калоши... Черненькие?
– Ага.
– С рубчиком?
– С ним.
– И с красным войлоком?
– Это внутри.
– Наблюдательный ты парень.
– А как же. Врожденные способности надо развивать.
– И память у тебя хорошая?
– Хорошая у меня память, ничего не забываю.
– Ну, молодец, Ромин, молодец. Ганкина-то Витьку помнишь? Ганкин, видимо, тоже не твой?

– Валите и Ганкина.
– Нет, Ганкин не твой. Ты обо всем этом деле с Ганкиным не знал. Это дело Прохора.
– Кого-кого?
– Прохора.
– Ах, Прохорова...
– Ну какой же ты молодец, Сударь! – сказал комиссар одобрительно. – Герой, супермен! И с Прохоровым неплохо придумал. Только малость переиграл, удивляться не надо было б, конечно, это ты верно сработал, а вот имя на фамилию менять – слишком уж игра точна, шов заглажен, а у меня глаз зоркий на это дело.

– В т-твоих интересах с-сказать нам правду, Ромин.
– Вы о моих интересах не заботьтесь, не надо.
– К-как знаешь. А заговорить – заговоришь. Все скажешь...
– Ничего я вам не скажу, обожаемые начальники. Ничего. Марафета подкинете – тогда, может, поговорим. Так, без протокола, по-семейному.
– Вот сукин сын, – удивленно сказал комиссар. – Ну и мерзавец.
– У вас сила, вы можете надо мной издеваться.
– У нас сила, это точно. А издеваться – так, Ромин, не издеваются. Издеваются над беззащитными женщинами в кассе и в скупке, над Ленкой Самсоновым, это называется – по большому счету – издеваться.

– А по малому?
– А т-ты наглец, парень, – сказал Садчиков. – Б-большой наглец.
– Дайте марафета, я тогда отойду, гражданин начальник.
– Хорошо, – сказал комиссар, – вопросов больше не будет. За два убийства и вооруженное ограбление полагается расстрел. Это ты знаешь. Чита, конечно, вместе с тобой не убивал – у него кишка тонка. Значит, убивал ты один. Вещественные доказательства у нас есть. Все. Иди. Иди, иди, – повторил комиссар, – конвой в той комнате. Иди. И помни: наше законодательство дает тебе возможность защищаться. И самому, и с помощью адвоката. Помни: суд всегда учитывает, кто бил, а кто стоял рядом. Мы тоже к этому прислушиваемся. Если у тебя есть хоть малейший намек на алиби – выкладывай, мы будем этот твой малейший намек анализировать.

Сударь продолжал улыбаться, но было видно, как сильно он побледнел.

Прохор обдумывает

Прохор лежал и курил. Он курил спокойно, глубоко, с хрипом заглатывая дым; внимательно следил за тем, как вспыхивал красный тлеющий огонек и постепенно становился пепельно-черным.

Он все понял, Прохор. Когда он два раза позвонил Сударю и оба раза к телефону подошел один и тот же мужчина, Прохору все стало ясно: мальчики провалились, в остроге мальчики...

«Чита меня видел раз, видел с палкой, видел старым. Сударь ничего обо мне не знает. Девять миллионов – Москва с пригородами, – иди ищи. Но найдут. Это точно. Они мильтона не простят. Доигрался, доигрался, старик. Раньше надо было дело с профессором решать. Раньше. А связей-то у меня не было, а что без них сделаешь, без проклятых? Поди держи картины-то в сарае – сгоришь, как ракета, они на это дело ЧК бросят, а в ЧК материал обо мне имеется, ох, имеется, спаси Господи, сохрани и помилуй... Чита им все выложит сразу же – нервы у обезьяны не сильные. Сударь выложит, но попозже, недельки через две. Когда они со всех сторон зажмут, тогда он и стукнет про меня. Что он знает? Во-первых, он знает про то, что у меня водится наркотик. Это для милиции козырь – они по этой цепке пойдут. Работать им придется долго, месяца три-четыре, это уж определено. Да и то неизвестно, выйдут ли они на меня. Они могут на Фридке споткнуться – она ведь наркотик из аптеки мне перебросила. И опять-таки через третье лицо. Нет, тут, пожалуй, бояться нечего: у Фридки срок, им придется ее тягать из колонии, а это волокита, месяц пройдет, не меньше. Ладно. Это, пожалуй, отпадает. Ну а что про меня Сударь знает во-вторых? Да вроде бы ничего. Милиционер? Тут экспертиза меня спасет, нет во мне силы, чтоб рукой человека повалить... Здоровьишко нынче уж не то... Если он развалится, что мы вместе мильтона били, – так и пусть разваливается, я-то в сознанию не пойду... Грабеж? А – Витьки нет, сгорел Витенька. Так что все верно – вроде бы выскочил я».

Прохор затушил папиросу, прислушался. Голосили петухи у соседки. Что-то бормотали во сне хозяйкины дети – Федька и Колька. На чердаке, в теплом бревенчатом подкрышье, пел сверчок.

«Если все так, как я думаю, – продолжал рассуждать Прохор, закулив новую сигарету, – то надо сматываться через день-два. За это время мне надо найти одного верного человека и с ним взять профессора – за полчаса перед отъездом из Москвы. За десять минут до отхода поезда – деньги на бочку. Потом – в Сибирь, там человек – иголка. Погодим, посмотрим, может, и выждем чего. Хотя, говоря откровенно, навряд ли. Кто сможет пойти со мной к профессору? Вроде бы никто. Искать нет смысла, я Сударя год искал да год обхаживал. Сейчас не успею – времени мало. Хотя профессора они, возможно, под колпаком держат. Надо завтра посмотреть, нет ли поста у его дома. Вряд ли, конечно. Им надо меня знать, чтоб там пост оставить, а они меня не знают. По-видимому, не знают. Не должны бы. А может, сразу поднаточить когти? Сегодня? В ночь? Сел на поезд – и айда? Сто граммов наркотика у меня есть – это капитал, куда мне больше-то? Хватит пока, там видно будет. Нет. Нельзя. Годков на двадцать меня еще будет, счета надо кой с кем свести. Профессор скоро загнется, иконы с Рубенсом к большевикам уйдут, ищи потом другого. А что, если Сударику в тюрьму передачку? С цианистым калием в колбаске? МУР не ЧК – могут пропустить. Кто у него из родных есть? Мамаша в Батуми. Плохо. Без паспорта не возьмут. А может, мне на чужачка проскочить? Паспорта у меня еще есть. Ромин – чем не Ромин? Дядя его, а? Тогда милиционер зависнет навсегда. Витька уже навсегда завис. Может, так и поступить? Может, переиграю их всех? А послезавтра вечером на экспресс – и в Сибирь...»

Пятые сутки

Снова в Тарасовке

В воскресенье рано утром около отделения милиции поселка Тарасовка остановилась серая «Волга». Из машины вышли Костенко и Росляков. Сделав несколько взмахов руками, что должно было, по-видимому, означать утреннюю зарядку, Росляков сказал:

– Слава, ты чувствуешь, какой здесь воздух?

– Дымный, – сказал Костенко, – не будь идеалистом. Такой же, как в столице.

– Ты черствый человек, старина.

– А ты сегодня что-то слишком, как я погляжу, радостный.

– В самый корень смотришь.

– Ну извини...

– Да нет, ничего.

– Как я понимаю, проблема личной жизни тебе сейчас не кажется такой унылой, как позавчера?

– Зоркий ты человек, Костенко... Беркут... Насквозь видишь...

Они вошли в отделение, и Костенко ворчливо заметил:

– Прямо как из рая в ад. Слушай, ну почему в наших помещениях такая тоска? Я раз в «Известия» попал. Вот это да: светло, красиво, модерново! Я б, если там работал, и ночевать оставался – так у них здорово. А тут штукатурка сыплется...

– Так мы ж не газеты... И даже не детский санаторий... Мы – карательные органы.

– А полы в карательных органах подметать надо?

Дежурный по отделению мельком взглянул на них и продолжал отчитывать здоровенного детину.

– А мне не важно, что ты испытываешь, молодой отец. Напился? Напился. Песни ночью орал? Орал. Достаточно. Тебя прости, потом другого прости, а где порядок? Указ знаешь? Ну и все. Вот отсидишь, поумнеешь, тогда и поговорим.

– Да ведь с радости я. Сыночек родился, ну и выпил. Я песни хорошие пел. Ну а узнает она, что меня на пятнадцать суток посадили? Товарищ лейтенант, я какое угодно наказание приму, только не пишите на работу... Лучше уж штраф.

Костенко подошел к дежурному и спросил:

– Что этот гражданин сделал?

– Что сделал, то и сделал, а ваше какое дело?

– Интересуюсь.

– Дома интересуйтесь. А дела нет, так очистите помещение. Защитнички пришли...

– Верно, – сказал Росляков, – вот мое удостоверение.

Дежурный посмотрел удостоверение, сразу же поднялся, поправил гимнастерку и откозырял по форме. Лицо у него стало улыбочивым и мягким.

– Что этот товарищ сделал? – снова спросил Костенко. – Доложите.

– Напился.

– Хулиганил?

– Да.

– В чем это выражалось? Дрался?

– Нет, песни пел...

– И все?

– Очень громко пел. Всех соседей разбудил.

- Почему напился?
- Говорит, что ребенок вчера родился.
- Говорит или это точно?
- Говорит.
- Позвоните в родильный дом и узнайте.

Пока лейтенант названивал в родильный дом, Костенко спросил у парня:

- Какие песни пел?

Парень посмотрел на него с невыразимой мукой и ответил:

- «Мы с тобой два берега у одной реки». Я в хоре бас веду...

Росляков отвернулся, чтобы не рассмеяться. Костенко начал покусывать губы. Дежурный, надрываясь, кричал в трубку:

– А документ есть? Документ, говорю, есть? Да документ, ушей у вас нет, что ли? Документ! По буквам: Денис, Ольга... Какая Денисова?! Документ! Ага, теперь слышите? Есть? Мальчик? Громче говорите, не слышу! Какого пола ребенок? Ребенок, говорю, какого пола? Мужского или женского?!

– Мужского пола... Четыре триста, – сказал парень, – такого поди выроди, а тут письмо придет... Что я наделал, что я наделал!..

– Ничего ты не наделал, – сказал Костенко, – это тебя дежурный пугал. Иди праздный и пой громко, как хочешь. Иди. Поздравляю с сыном.

Парень отступил на шаг и уставился на дежурного. Тот недоуменно смотрел на Костенко.

- Иди, иди, ничего про тебя писать не будут. Иди себе спокойно, – повторил Костенко.

Когда парень ушел, Костенко сказал дежурному:

– Знаете, лейтенант, за что нас легавыми называют? Не знаете? Вот за такое ваше поведение. Ну разве можно так над парнем куражиться?

- Но он пел после двух часов ночи. Граждан будил.

– Уснут граждане, уснут. Сын не каждый день у человека рождается. Сердце-то у вас есть?

- При чем здесь сердце? Я нахожусь на службе.

– Эх, лейтенант... Оно на нашей службе важнее всего, сердце-то... Без него дров наломаете. Очень вы некрасиво себя вели. Простите, но мне стыдно за вас... Давайте начальника вызывайте, мы к вам по срочному делу приехали.

На совещании, которое собрал начальник отделения милиции, было решено следующее: Росляков сейчас же отправляется на станцию и там проверяет фамилии и имена тех, кому выданы сезонные билеты. То, что у Прохора есть сезонный билет, явствовало из показаний футболиста Алика.

Костенко оставался в отделении и работал по документам паспортного стола. Потом он вызывал всех участковых и беседовал с каждым в отдельности, чтобы по возможности установить всех стариков с палками, морщинистых, небольшого роста, в серых костюмах, седых, тщательно причесанных, имеющих старые туфли – комбинированная замша и лак. Вот, собственно, что мог выяснить о стариках поселка Тарасовка капитан Костенко. Это он мог сделать. А нужно ему было среди всех этих стариков найти убийцу и бандита Прохора. Тарасовка была пока что единственной версией. Других версий не было.

Валя пришел к начальнику станции, представился ему и сел в закутке около кассы. Рослякову надо было просмотреть все документы за пять месяцев – с января по май. Их было много. Росляков почесал затылок и начал работу.

Через десять минут в кабинете у начальника отделения были собраны все старики по имени Прохор, которые ходили с толстой суковатой палкой в руке, имели серый костюм и были седые и морщинистые.

Костенко позвонил к Садчикову, и тот, взяв с собой Читу, который только перед тем, во время опознания его и Сударя работниками лавки и скупки, устроил истерику и рвался ударить Сударя, «как дикого зверя, погубившего его жизнь», срочно выехал в Тарасовку. Сударь, узнав, что они едут в Тарасовку опознавать схваченного Прохора, заметно обрадовался, хотя виду старался не подавать. Ехать вместе с Садчиковым наотрез отказался и снова начал вопить, требуя наркотика.

Садчиков впустил Читу в кабинет сразу, без стука. Собрали стариков, и не только одних Прохоров. Были здесь и Иваны, Петры и Федоры. Их приглашали к начальнику милиции якобы для того, чтобы сообща обсудить вопрос о разведении карпов в прудах. Старики все на пенсии, делать им нечего, вот, говорили им участковые, вы на себя это дело и возьмите. Старики удовлетворенно смеялись: «Не зря нас, пенсионеров, „народными мстителями“ называют – понадобились наконец для дела, не вечно по домам сидеть...» Версию с прудами предложил Костенко – не было времени придумывать что-либо другое, каждая минута была дорога сейчас. Он предложил эту версию для того, чтобы нейтрализовать возможные разговоры, если того Прохора, которого искали, среди приглашенных не окажется. Надежда на то, что среди приглашенных есть бандит и убийца, сразу же покинула Костенко, как только он познакомился со всеми стариками. Конечно, физиономистика – наука далеко не точная, но все же достаточно было посмотреть на этих рукастых стариков, чинно рассевшихся на диванах и стульях, чтобы все сразу понять и сказать себе: того Прохора здесь нет.

Чита вошел в кабинет, съездившись, замер на пороге, обвел всех собравшихся быстрым взором и, обернувшись к Садчикову, качнул головой. Костенко и Садчиков переглянулись.

– Н-ну, товарищи, – сказал Садчиков, – с-сейчас с вами маленькое совещание проведут. О карпах. Начальник с в-вами поговорит, решение п-примете, и надо мальков запускать.

Начальник отделения жалобно улыбнулся и сказал:

– Товарищ Садчиков, помощь потом потребуется.

– У-уху пробовать?

Старики сдержанно засмеялись, а потом один из Прохоров поднялся, одернул синюю сатиновую рубашку и сказал:

– Считаю мероприятие, поднятое милицией, своевременным и нужным. Готов отработать свои сорок часов. А сейчас надо выбрать председателя собрания и секретаря...

Валя Росляков пришел усталый и злой. Уже темнело.

– Вот, – сказал он, – нашел одну запись. Только это не старик и не Прохор. Он Прохорович, Аверьян Прохорович. Может, зайдём?

– Завтра, – устало откликнулся Садчиков.

– Да ну к черту, – сказал Костенко, – давай сегодня отработаем Тарасовку, а завтра начнем Сударя допрашивать, он, мне кажется, правильный след знает.

– Ну ладно, – согласился Садчиков, – п-по пути зайдём, посмотрим Аверьяна, хотя, по моему, это не то...

Когда в дверь постучали, Прохор почувствовал – за ним. Хозяйка пошла отпирать, но он, выхватив черный маленький дамский браунинг, ощерившись, сказал:

– Ни с места! Тихо!

Он схватил хозяйкиного Федьку, прижал к его виску пистолет и прошептал:

– Пристрелю, если откроешь.

Женщина посмотрела на него остановившимся взглядом и тонко-тонко заверещала. Прохор метнулся к окну и увидел у ворот «Волгу».

– Ставни, – шепнул он, – ставни, дура!

– Откройте, – громко сказал Костенко, – мы к вам на минуту.

– Ой! – закричал Федька. – Пусти, дядя Ава! Пусти! Пусти!

В дверь начали барабанить.

– Уйдите отседа, – сказал Прохор пьяным голосом, – своя семья, свои заботы. Не гневите меня зазря.

Федька выл, а женщина продолжала тонко-тонко верещать.

Прохор чувствовал, как у него холодеют руки и ноги; он понимал, что все кончено; он понимал, что он провалился, но он не хотел, он не желал сдаться им, он не мог примириться с мыслью – «погиб». Он хотел жить.

Костенко начал ломиться в дверь.

– Скажи им, – тихо приказал Прохор хозяйке, – чтобы они уходили.

– Уходите, – заголосила женщина, – уходите отсюда! Он моего сыночка застрелит.

За дверью все смолкло.

«Неужели уйдут? Может, там двое всего?! Может, один сейчас за подмогой поедет? Тогда уйду! Тогда уйду я от них!»

Дзень! Дзень!

Прохор метнулся в сторону и увидел в окне силуэт человека. Оттолкнув мальчонку, он не целясь выстрелил в силуэт. Человек что-то быстро крикнул и кошкой прыгнул на него с подоконника. Прохор выстрелил еще два раза. Потом он упал, и пистолет выпал у него из руки. Он пополз к пистолету, царапая ногтями пол, но женщина, стоявшая у стены, бросилась на браунинг своим большим телом.

Сердце Рослякова

К операции Рослякова подготовили очень быстро. Он лежал молча и все время сосредоточенно смотрел в потолок. Он уже не чувствовал той боли, которая сначала так мучила его. Сейчас боли почти не было. В голове все время звенели и носились какие-то бессвязные слова: «аскорбинка, ноги, полынь, шофер-любитель». Эти слова прыгали у него в мыслях, а он старался остановить их и построить в нечто единое и целостное, хотя где-то и понимал, что столь разнородные по смыслу слова в осмысленное, единое целое построены быть никак не могут.

«Здесь нужен глагол», – вдруг отчетливо и совершенно спокойно понял Росляков. Он обрадовался тому, что вместо этих проклятых, вертящихся слов он смог построить осмысленную фразу. Росляков улыбнулся и, закрыв глаза, стал думать, какой именно глагол поможет ему воссоединить эти слова в единую фразу. Он уже почти нашел тот, нужный, как ему казалось, глагол, но в это время теплая волна беспамятства накатила на него, и Росляков потерял сознание.

Очнувшись от острого запаха нашатыря, он снова вспомнил, с каким ужасом он вытягивал рубаху из брюк, чтобы посмотреть рану сразу же после выстрела. Ему казалось, что она огромная, как дыра, и ему было очень страшно опустить глаза вниз, чтобы рану посмотреть, но в то же время какая-то чужая, сторонняя и любопытствующая сила заставила его нагнуть голову. Он увидел маленькую красную дырочку – и ничего больше. Он даже захотел улыбнуться, потому что это было совсем не так страшно, как показалось вначале. Но потом стало очень больно, будто туда, в грудь, сунули горящий окурок, и в голову полезли эти нелепые «аскорбинка, ноги, полынь и шофер-любитель»...

– Что, – спросил Валя сестру, стоящую все время возле него с нашатырем и шприцем, – дрянь дело?

– Да что вы, – ответила сестра, – пустяки...

– Вам артисткой быть, – вздохнув, сказал Валя, – а не сестрой. – И закрыл глаза.

Профессор Гальяновский кончил мыть руки и попросил хирургическую сестру:

– Поторопите, пожалуйста, Галину Васильевну.

– Она побежала звонить...

– Что?

- Этот человек работает вместе с ее мужем. Он тоже не приехал сегодня ночью домой.
- Ну?
- Она волнуется.
- Но я не могу оперировать один, как вы полагаете?
- Сейчас я пойду за ней.
- Да уж, пожалуйста.

Галина Васильевна сидела у телефона и слышала длинные гудки: в квартире все еще никого не было. Где же Садчиков? Тогда бы их привезли вместе. Валя. Бедный мальчик. Он так и не узнал ее. Господи, неужели он не выживет? По-видимому, нет. А может быть, Садчиков в другой клинике? «Какая же я дура! Садчиков, милый мой, прости меня!»

Она достала записную книжку и быстро пролистала страницы...

«Я позвоню к нему в отдел, – решила Галина Васильевна, – они же знают...»

Но и в отделе никого не было, а других телефонов она не знала, и если бы даже знала, то наверняка не стала бы звонить, страшась услышать ответ, которого она так боялась.

– Галина Васильевна, – окликнула ее сестра, – он очень нервничает.

– Боже мой! – сказала Галина Васильевна и прижала к груди руки. – Я, наверное, не смогу...

– Он же один... Он ждет вас...

Галина Васильевна опустила трубку на рычаг и пошла в операционную.

Валя лежал без движения. Лицо его было желтым, словно высеченным из слоновой кости. Скулы заострились и стали как у покойника. Он уже не дышал, потому что через горло ему ввели трубку управляемого дыхания, и анестезиолог Татьяна Ивановна монотонно надавливала на красную грушу, через которую в легкие шла жизнь.

Все тело Рослякова было укрыто простынями и салфетками, и только, будто поле сражения, ограниченная всем белым, выпирала часть его груди с маленькой красной дыркой, от которой пахло жженой бумагой.

Профессор, оперируя, тихо матерился. Галина Васильевна давно привыкла к этому, и, если профессор молчал, ей было как-то не по себе. Сейчас, вскрыв полость, профессор работал молча, и Галина Васильевна видела, как у него – от затылка вниз – густо краснела шея. Ей даже было видно, как кровь, пульсируя, скатывалась под кожей от шишковатого блестящего затылка вниз, к сильной, бычьей шее.

Легкое у Вали было чистое, гладко-розовое, почти совсем без черных пятен от табака, которые были у всех мужчин, ложившихся на этот стол.

«Он же спортсмен, – вспомнила Галина Васильевна. – Садчиков говорил, что он мастер спорта».

Профессор сделал еще несколько быстрых надрезов, и открылось сердце. Оно билось неровно, иногда сжималось, делалось маленьким и замирало, а потом вдруг, будто заторопившись, начинало сокращаться лихорадочно-быстро, судорожно. Пуля повредила сердечную сумку, и поэтому сначала ничего нельзя было понять из-за большого сгустка синей крови.

Профессор очень быстро осмотрел раненое сердце Рослякова. Поморщившись, выругался, потому что увидел маленькую ссадинку, шедшую по краю. Такая ссадинка на руке безболезненна, ее прижигают йодом, да и то в крайнем случае. О таких ссадинах детям говорят: «До свадьбы заживет». А здесь, на сердце, она была смертельной, и никто не мог поручиться за то, что сердце не остановится, как только они начнут зашивать его маленькими нетравматическими иглами.

Профессор вытянул правую руку, и, когда сестра положила в его ладонь иглу, он, хищно прищурившись, снова стал разглядывать сердце, а после, покачав головой, взглянул на Галину

Васильевну и начал осторожно зашивать красную пульсирующую ткань. И каждый новый прокол – чем дальше он продвигался к концу ссадины – Галина Васильевна воспринимала как некий сплав трагического и счастливого: шансы на спасение Рослякова увеличивались, но одновременно увеличивалась опасность. Ломался режим работы сердца, оно могло захлебнуться кровью, оно могло споткнуться и замереть.

Садчиков и Костенко приехали в клинику через час после начала операции, сдав Прохора в КПЗ. Они сели внизу, в приемном покое, и закурили.

- Кофейку бы, – сказал Садчиков.
- Спать хочется?
- А н-нет? Две ночи как-никак.
- Попрыгай.
- Неловко.
- Как думаешь, вытянет Валька?
- К-конечно.
- А что они так долго возятся?
- Ты далек от м-медицины. Час у них – пустяки. Тут о-одну дамочку шесть часов резали.
- Так то ж дамочку.
- Нездоровые у тебя н-настроения.
- Хочешь, вздремни полчаса.
- Не получится.
- Попробуй.

Садчиков вытянул свои длинные костлявые ноги и притулился головой к краю желтой скамейки, пропахшей хлористым больничным запахом.

Костенко ушел искать дежурного врача. Садчиков чувствовал во всем теле огромную тяжесть. Она давила на него, она делала его безвольным и усталым. Он хотел спать, но в то же время одна мысль билась у него в голове: «Это я виноват в том, что случилось с Валькой. Это я виноват. Должен был первым в окно прыгать я, а не он».

Но вторая мысль спорила с этой, все под себя подминавшей первой: «Если бы он ждал, пока я подойду и пока мы станем советоваться, Прохор перестрелял бы детей и хозяйку. Тогда он бы сейчас сидел и не мог найти себе места, и все бы в нем кричало: „Я виноват!“ А я знаю Вальку, это было бы для него концом, трагедией».

Когда Костенко вернулся, Садчиков попросил его:

– Слушай, тут р-рядом есть гастроном, купи какого-нибудь вина. А то я совсем ошалею. У меня есть т-трешница.

- У меня тоже есть трешница. Ты хочешь есть? Могу купить.
- Нет, не надо...
- Я тоже есть не хочу... Сейчас я вернусь. Если уснешь – разбудить?
- К с-сожалению, я не усну.
- Я быстро.
- Хорошо.

Он вернулся с бутылкой «Гурджаани». Откупорил ее штопором, вмонтированным в нож, и протянул бутылку Садчикову.

- Нет, – сказал тот, – пей п-первым.
- За Вальку, – сказал Костенко.

Он пил долго, уже через силу, маленькими глотками, и ему казалось, что каждый глоток за Вальку – как в детстве «за маму» и «за папу» – обязательно принесет тому здоровье и жизнь.

- Держи, – сказал он, – твоя доля.
- За Вальку, – сказал Садчиков и допил все оставшееся в бутылке.

- Хорошее вино, – сказал Костенко.
- У грузин есть л-лучше.
- Там было только это. Что, оно тебе не нравится?

Садчиков усмехнулся:

- Д-да нет, н-ничего...

Потом приехал Коваленко из соседнего отдела.

- Как дела? – спросил он. – Наши волнуются.
- Пока неизвестно.
- Это что, вы пили?
- Мы.
- С ума сошли!
- Почему? – удивился Костенко.
- Ну, все-таки милиция... Решат, что мы все алкаши...
- Черт с ними. Пусть т-только Вальку спасут.
- А что говорят?
- Ничего не говорят. Как там Прохор?
- Его Чита топит, а Сударь молча помогает. Пока лягается, но дело-то ясное, вы его с

поличным взяли.

- Не мы, – поправил Садчиков, – а Р-росляков.
- Значит, вы, если Росляков.

Врач-анестезиолог заглянула в лицо Рослякова и сказала скучным, обычным своим голосом:

- Большой порозовел.

Ассистент, «сидевший» на артерии, открытой для переливания крови, в случае если катастрофически упадет давление, тоже сказал скучным голосом:

- У больного действительно заметно порозовело лицо.

Профессор сказал:

- Он не больной, он раненый. Ясно вам?
- Ясно, – отозвалась анестезиолог.

И все в операционной улыбнулись.

– У парня мускулатура, – сказал профессор, – совершенно смертоносная для дам. Вообще-то, мне всегда было непонятно, почему женщины так падки на мышцы, Галочка, почему?

- Мой муж худ как палка.
- Ну это, я думаю, вы его довели с вашей строптивостью.
- Спасибо.

- Ешь ты с копотью, – удивился профессор, – и она еще обижается, вы слышите?!

Он затащил нитку, бросил иглу и отошел в сторону. Затем он поднял руки, и хирургическая сестра стала стаскивать с него перчатки и халат.

– Гоп со смыком это буду я! – пропел профессор и заметил: – Галочка, вы как жена сыщика должны знать эту песню. Ее кто поет: жулики или милиционеры? Я всегда путаю.

- Ее поют жулики.

– Ничего мотив, – сказал профессор, – а слова – так просто поэзия. Идите звоните вашему благоверному.

Галина Васильевна сняла маску и халат, стянула с себя перчатки и присела на краешек табуретки, чтобы прошла дрожь в ногах. Она видела затылок профессора; она видела, как кровь уходила теперь вверх – от шеи к затылку, и она понимала, как трудно далась ему эта операция, дерзкая и виртуозная, на почти безнадежном сердце.

Выглянув в коридор, она сразу же увидела Садчикова среди восьми мужчин, сидевших на скамейках. Он сидел, вытянув длинные ноги, и курил, низко опустив голову. Галина Васильевна подошла к нему и сказала:

– Здравствуй, родной. Он жив.

Что-то неуловимое, но понятное ей прошло по лицу Садчикова, она погладила его по щеке и присела рядом.

– Он уже говорит? – спросил Костенко.

– Он еще под наркозом. Но теперь все в порядке.

А потом, когда все смеялись и рассказывали что-то наперебой, мешая друг другу, в приемный покой выскочила сестра и крикнула:

– Галина Васильевна, скорей!

Стало тихо-тихо, и было слышно, как шальная муха бьется в окне, жужжа, словно тяжелый бомбардировщик. А потом все услышали, как простучали каблучки Галины Васильевны, и потом настала тишина – гулкая и пустая, как ужас.

У Рослякова остановилось сердце. Кончик носа сразу же заострился и сделался белым. Дали кровь в вену, но ничего не помогало. Тогда профессор вскрыл только что стянувшие грудь швы, отодвинул в сторону легкое и, взяв сердце своей желтой, сожженной йодом рукой, начал массировать его.

– Ну, – говорил он, – ну, ну, ну!

Он снова стал багровым, этот семидесятилетний профессор, и шея у него сразу же налилась кровью, и глаза сузились в меткие и всевидящие щелочки.

Сердце лежало в его руке, мягкое и безжизненное.

Он давил его сильно и властно. Он передавал ему силу и желание жить; он повторял все злее и громче:

– Ну! Ну! Ну! Ну!

Галина Васильевна стала рядом с ним.

– Остановка сердца, – сказал он. – Идиотизм какой-то! Ну! Ну! Ну!

Вдруг он замер: почувствовал слабый, чуть заметный толчок. Он сразу же ослабил пальцы и сдавил сердце едва заметным движением. Оно отозвалось – тук! Он сжал его еще слабее. А оно четче – тук!

– Ну же! – сказал профессор. – Мать твою! Давай!

И сердце снова сократилось.

– Где кровь? – сказал он. – Перелейте кровь! Быстро!

Дали кровь. И сердце стало все отчетливей и резче делать свою работу, а вся работа его – великая и мудрая – заключалась только в одном: в непрерывном и размеренном движении.

– У него кончается наркоз, – сказала анестезиолог, – максимум три минуты.

– Терпи, парень, – сказал профессор Гальяновский и начал зашивать грудную полость. – Теперь терпи, коли выжил.

Галина Васильевна подошла к Рослякову и, нагнувшись к нему, стала говорить медленно и громко:

– Они все здесь. Они ждут тебя, Валя. Ты меня понимаешь? И Садчиков, и Костенко, и ребята из управления.

Росляков сосредоточенно смотрел в потолок и молчал. Глаза у него были огромные и бездонно-синие.

– Они все здесь, Валя, скажи, что ты меня слышишь, скажи!

Он ничего не мог сказать ей, потому что в горле у него была трубка, шедшая в легкие. Он только кивнул головой и нахмурился.

– Сейчас ты их увидишь, только будь молодцом, ладно?

Он снова кивнул головой, и Галина Васильевна увидела, как глаза у него стали темнеть. «Как у новорожденного, – подумала она, – у Катюшки тоже потемнели глаза. Он новорожденный. Он был там, за гранью, он был мертвым».

– Выньте у него трубку, – сказал профессор.

– У тебя теперь все в порядке, – говорила Галина Васильевна и гладила его лицо, – мы зашили рану, теперь ты у нас молодец. Ты замечательно перенес операцию, теперь все будет в порядке.

Росляков закрыл глаза и наморщил лоб.

– Тебе больно, да?

Он кивнул головой.

– Терпи.

– Терплю, – прохрипел он и постарался улыбнуться.

– Молодец, ешь ты с копотью, – сказал профессор.

Профессор быстро накладывал шов, только что разорванный им. Наркоз кончился, и он шил по живому телу, а Росляков лежал, закрыв глаза, и морщился, а Галина Васильевна все повторяла и повторяла:

– Они все здесь, они ждут тебя, понимаешь? Садчиков, Костенко, Коваленко, и Бабин, и еще много ваших. Сейчас дотерпи, и мы их пустим к тебе, ладно?

Росляков открыл глаза, посмотрел на Галину Васильевну строго, требовательно, и слезы покатались у него по щекам.

– Все, – сказал профессор, – везите в палату.

Вернувшись в управление, Садчиков достал пачку «Казбека» и прочитал там номер телефона, который продиктовал Росляков в машине, перед тем как потерять сознание. Снял трубку, набрал номер.

– Да, – услышал он девичий голос.

– А-алену, пожалуйста.

– Это я.

– Здравствуйте. М-меня просил вам позвонить Валя.

– Какой Валя?

– Росляков.

– Кто говорит?

– Его друг.

– Я его жду.

– П-правильно делаете. Только он не придет.

– Почему?

– Он р-ранен. В больнице на П-пироговке лежит.

В трубке долго молчали. Потом Алена спросила:

– Мне туда можно?

– Н-нужно. Хотя, я думаю, в-вас туда не пустят...

Алена бежала по уснувшим московским улицам. Она забыла переодеть тапочки, и поэтому ноги у нее промокли сразу же, как только она вышла из дому. Она бежала по лужам, почти по середине улицы. В лужах отражались звезды. Дождь кончился, небо стало высоким и ясным. Звезды казались по-южному огромными и низкими. В лужах они отражались точно и незыбко. Алена бежала по лужам, и звезды брызгами поднимались вверх, шлепались на землю и разбивались. Она бежала все быстрее и быстрее. Алене казалось, что сейчас все зависит от того, как быстро она прибежит в больницу к Рослякову, которого зовут детским именем Валя. Она бежала и плакала, а звезды брызгами взлетали в небо и пропадали потом, разбившись об асфальт, который был по-земному теплым.

Конец банде

Сударя, Читу и Прохора допрашивали в трех разных комнатах. Садчиков зашел в медпункт, выпросил две таблетки кофеина и отправился в комнату, где допрашивали Прохора. Допрос вел Костенко.

– Я ж на почве ревности в нее хотел-то, – твердил Прохор, – а он помешал. Откуда я знал, что вы из розыска?

Костенко сидел молча и только изредка, будто метроном, ударял по столу длинной линейкой, измазанной разноцветными чернилами.

– Может, она мне на каждом шагу изменяла, у меня сердце тоже есть, я ведь тайно ее любил-то, – медленно, глядя в одну точку, тянул Прохор. – А он когда стал рваться, я решил, что это, наверное, ее хахаль какой...

Костенко кашлянул, и Прохор быстро на него глянул и замолчал.

– Расскажите, как вы убили милиционера около ВДНХ, – негромко и очень спокойно спросил Костенко.

– Я не убивал милиционера около ВДНХ, – четко и ровно ответил Прохор.

Садчиков закурил, и снова воцарилось долгое молчание, и только время от времени через точные промежутки Костенко ударял линейкой по столу.

– Расскажите, как вы убили шофера Виктора Ганкина, – так же негромко и очень спокойно повторил Костенко.

– Я не убивал никакого Ганкина, – так же четко и ровно ответил Прохор.

Садчиков и Костенко переглянулись.

– Слушай теперь меня, Прохор, – сказал Костенко, – слушай меня очень внимательно и постарайся не упустить ни одного слова из того, что я тебе сейчас скажу. Наш друг, в которого ты стрелял, остался жить. Понимаешь? Его спасли.

– Слава богу, – сказал Прохор, – а то я уж перенервничался.

– Что? – удивился Садчиков.

– Перенервничался, – повторил Прохор и вздохнул.

– Ну так вот, слушай дальше, – продолжал Костенко. – Если бы он погиб, то, вернувшись сюда, я пристрелил бы тебя, как бешеного пса, понимаешь? Меня за это арестовали бы и отдали под суд. Но я думаю, что меня за такого пса, как ты, все-таки не осудили бы. И я бы рассказал на суде все про тебя: и про то, как ты убил Копытова, и про то, как ты убил Ганкина, и про то, как ты изувечил жизнь Ленки Самсонова. Я бы рассказал людям про то, какая ты мразь, понимаешь? И мне бы, я думаю, поверили.

– А может, и не поверили б...

Костенко открыл сейф и выбросил на стол окровавленную перчатку, найденную в ту ночь около Копытова. Потом он выбросил на стол вторую перчатку – такую же, но не окровавленную, найденную в машине, под сиденьем Ганкина, со следами пальцев Прохора. Потом он достал ботинок Прохора и рядом положил слепок с него, сделанный там же, в аллее у Ростокина. Он достал гильзы и выстроил их в ряд, а после того как все гильзы кончились, он подровнял их копытовским пистолетом.

– Видишь? – спросил он. – Это все против тебя. Но я готов выслушать все твои доводы – в твою защиту. Я очень не хочу делать это, но я готов это сделать, понимаешь? И не смотри на меня дурным глазом, Прохор. Номера не проходят. Институт Сербского быстро тебя расколет, тем более что ты там уже раз пытался прикинуться сумасшедшим в сорок пятом. Ясно?

Прохор долго сидел молча, а потом завыл. Он выл монотонно и страшно, как раненая собака, выл на одной страшной ноте, очень высокой, но в то же время басистой и хриплой.

– Ненавижу вас, – хрипел он, – ненавижу...

– А ты думаешь, я тебя люблю? – удивился Костенко. – Я тебя тоже ненавижу. Только я человек, а ты – зверь. Понял? Вот так-то.

Он раскрыл голубой листок протокола допроса и спросил Садчикова:

– Ты будешь вести или я?

– Веди т-ты. У тебя почерк четче, – ответил Садчиков и, сняв пиджак, повесил его на стул.

Костенко обмакнул перо в чернильницу и начал:

– Давай. Фамилия? Имя? Отчество?

– А зачем? – спросил Прохор глухо.

– Закон требует, – ответил Костенко и затушил сигарету, чтобы дым не щипал глаза.

Апрель – август 1962 г.

Огарева, 6

І. Утро полковника Костенко

1

Гражданская панихида была в конференц-зале «Мосфильма». Левон лежал в гробу – маленький и желтый, с припудренным лицом, совсем не похожий на себя. Костенко, взглядываясь в его холодное лицо, вспомнил, как Левон лет пять назад сказал: «Славик, я отдам концы в сорок». Костенко тогда смеялся над ним, и Левон тоже смеялся, но не оттого, что Костенко вышучивал его, а просто чтобы поддержать компанию.

«Смейся, смейся, дуралей, – говорил Левон, – ты живешь своими вещдоками, а я – чувством. Я вот смотрю тебе в глаза и чувствую, что ты думаешь, но выразить этого не умею. Умел бы, стал гениальным режиссером... Поверь, дорогой, мне: в сорок я сыграю в ящик...»

Два года назад, во время съемок, у него заболело в паху. Врач, осмотрев его, сказал, что надо ехать в онкологический институт. Изрезанный и облученный, Левон продолжал работу: его привозили на съемочную площадку, и он репетировал с актерами, полулежа в кресле на колесиках, и два раза в день медсестра впрыскивала ему наркотики, чтобы убить боль. Потом, правда, начался странный процесс ремиссии, и Левон неожиданно для всех стал прежним Левоном, каким Костенко знал его со студенческих лет, когда они вместе учились на юридическом факультете, ездили танцевать в «Спорт», устраивали шумные «процессы» в молодежном клубе, который помещался в церкви на Бакунинской, и сражались в баскетбол с Институтом востоковедения в спортивном зале «Крылышек». Левон был душой Москвы тех лет: его знали и любили люди разных возрастов и профессий – грузчики, писатели, кондукторы трамваев, жокеи, актеры, профессора, летчики: он обладал великолепным даром влюблять в себя сразу и навсегда.

Когда Левон почувствовал, что ремиссия кончается, постоянная слабость делает тело чужим и что большая, осторожная боль снова заворочалась в печени, он отказался лечь в больницу, попросил после смерти его кремировать («Нечего вам возиться со мной, теперь места на кладбище дефицитны») и еще попросил накрахмалить полотняную рубаху с большим воротником и синим вензелем ООН на правой стороне, которую Кёс привез ему в подарок из Стокгольма. Он так и умер: рано утром проснулся, попросил Кёса и Гришу надеть на него полотняную рубаху с большим, модным в этом сезоне воротником, посмотрел на свои руки и сказал: «Какие стали тонкие, как спички, позор экий, а?» Потом ему помогли перейти в кресло – к окну. Он посмотрел на свою тихую улицу, вздохнул и сказал:

– Ну, до свидания, ребята...

«Все-таки похороны – это варварство, – подумал Костенко, наблюдая за тем, как в зал входили все новые и новые люди, пожилые уже, сорокалетние, а он их помнил студентами, не лысыми, а кудрявыми, не толстыми, а поджарыми. – Особенно когда уходит самый сильный из нас и самый веселый. Впрочем, первыми всегда гибнут самые сильные и веселые». (Именно так часто говорила его мама, Галина Николаевна Иванова, пришедшая в Москву в конце двадцатых, в лаптях, из Шуи, поступать в университет. Оттуда, из университета, с исторического факультета, и ушла вместе с отцом на фронт; отец погиб в Сталинграде; мама вернулась инвалидом.)

Григор, поднявшись на носки, чтобы дотянуться до высоко установленного микрофона, говорил прощальное слово. Он был сейчас растерянный и казался из-за этого еще меньше ростом. Голос его то и дело срывался: он сопел и совсем не был похож на себя.

– Слушай, Коля, – шептал кто-то за спиной Костенко, – в Дом журналистов раков привезли. Проводим Левушку – надо съездить.

– Нехорошо это, – ответил Коля.

– Почему? «И пусть у гробового входа молодая будет жизнь...»

Костенко сердито обернулся:

– А раки при чем?

«Наших здесь человек пятьдесят, – подумал он. – Остальные пришли посмотреть смерть. Гадость это все-таки».

Костенко кто-то тронул за локоть.

– Вот так, Славик, – прошептал Степанов. – Первые наши похороны.

– Вот так, Митя...

– Я только вчера прилетел. А два месяца назад мы с ним на ипподром ездили. Он все время смеялся, анекдоты рассказывал. Я ему предложил новый фильм вместе снимать. Он тогда все шутил, что мы сделаем нашего Мегрэ лучше, чем у Сименона, а Кёс сегодня рассказывал, что он уже тогда знал, сколько дней ему осталось.

– Левушка был очень сильным человеком.

– Почему «был»? Он для нас всегда останется «есть».

– Брось, Митя. Был. Метафоры оставь для своей литературы. Я, знаешь ли, мыслю протоколом. Так верней в наш век. Был Левон – и больше нет его. И не будет.

Подошел Мишаня Васильев и хрипло сказал:

– Здоров, полковничек.

– Здравствуй.

Лет семь назад Костенко сажал Васильева за угон и спекуляцию автомашинами.

– Я у Левона работал последнее время, – сказал Васильев. – Помощником.

– Знаю. Он ко мне приходил, чтобы тебя, сукиного сына, в Москве прописали.

Мишаня затряс головой, в глазах его показались слезы, и он всхлипнул:

– Гады живут, боги умирают.

– Зачем с утра пил?

– Левушка велел. Я к нему за день перед смертью приходил, ананасов купил, а он сказал, чтобы мы его провожали весело. Воблы, говорил, хорошо бы достать на поминки. Сейчас жарко, вобла под водочку с пивком хорошо бы пошла. Смотри, говорил, чтоб мать и Марго не голосили, все вам настроение испортят.

Степанов спросил Костенко:

– Ты в крематорий на автобусе поедешь?

– Я не поеду в крематорий. Не могу, Митя.

– Поминать будем дома, – сказал Васильев. – Приедете?

– Постараюсь. Если почему-либо не получится, завтра зайди ко мне, пропуск я тебе спущу.

– А в чем дело? – Васильев удивился. – Я же завязал.

– Знаю.

– На Петровку?

– Нет. Я теперь в министерстве. Улица Огарева, шесть. В три часа сможешь?

– Вы что ж, попрощаться с Левоном пришли или я вам тут нужен был по делу? – спросил Васильев, и лицо его стало жестче.

– Если б ты мне был нужен по делу, я бы нашел тебя через отдел кадров. Не надо так, ты сантименты не крути, ты ведь не урка, Мишаня.

Костенко действительно не смог приехать на поминки, хотя очень хотел быть там. На два часа был назначен прием у заместителя министра. Костенко думал, что дело, которое он безуспешно разматывал в течение последних сорока дней, после сегодняшнего доклада генералу

перейдет в более спокойную фазу, но, вернувшись с похорон, получил новую сводку: «Вчера ночью в Свердловске в городской больнице скончался от отравления, идентичного тому, которое проходило по эпизодам в Минске и Ленинграде, Кикнадзе Шота Иванович, из Тбилиси. Данные прилагаются. Дежурный по управлению Бурмистров».

Кикнадзе, как и те двое в Минске и Ленинграде, приезжал покупать машину. Это единственное, что удалось установить точно. Об остальном можно было догадываться. Возле магазина к приезжому, очевидно, кто-то подходил и предлагал помочь купить «Волгу» без очереди. Потом они вместе шли в гостиницу, чтобы в номере спокойно посидеть, обмыть сделку и обговорить детали. Преступники подмешивали в водку снотворное, но делали это, не зная дозировки. Обокрав уснувшего человека, они уходили, даже не догадываясь, что тащат за собою «мокруху», – за сорок дней было убито три человека, и ни разу ни на одном месте происшествия не удалось получить отпечатки пальцев преступников. На столе оставались лишь те стаканы, из которых пили жертвы. На бутылках были обнаружены только отпечатки пальцев убитых. Судя по почерку, действовала одна и та же банда.

Опрос всех тех, кто мог хоть что-то знать об обстоятельствах, при которых были совершены убийства, ничего не дал. Костенко и его группа допросили десятки людей – работников автомагазинов, гостиниц, аэропортов, вокзалов, сберкасс, телеграфа, но, сколько они ни бились, найти хоть какие-то подступы к делу не могли.

Сотрудники спецгруппы, выделенные МВД Грузии и Армении на контакт с Костенко, допросили всех родных и знакомых погибших, прошли по всем их связям. Они говорили с работниками телефонных станций; по регистрационным почтовым книгам они узнали адреса и фамилии людей, которым в последние недели убитые отправляли телеграммы, но и это не дало никаких результатов.

Получив приказ срочно вылететь в Свердловск, Костенко вернулся к себе в кабинет, позвонил домой, попросил Машу собрать «допровскую корзинку» и прилег на диван – последние дни он ощущал тяжелую боль в животе, где-то справа, возле последнего ребра.

«А что, собственно, Мишаня Васильев? – подумал Костенко, когда боль приутихла. – Сколько лет прошло с тех пор, как он терся возле автомагазинов...»

Костенко осторожно поднялся, посидел мгновение, прислушиваясь к своей боли, потом распрямылся, сделал несколько наклонов в сторону, как на физзарядке, подошел к сейфу. Он достал дело и снова начал просматривать все те данные, которые удалось получить за последние дни. Он переключал бумажки и понимал, что делает это по инерции, просто для того, чтобы хоть что-то делать. Вдруг он отодвинул бумаги, полез за сигаретами. «Неужели Мишаня прав? Неужели я поехал на похороны только для того, чтобы найти там его, именно его, Мишаню Васильева, бывшего „специалиста“ по автомобильным кражам и спекуляциям? Неужели похороны Левонушки были для меня только поводом? Нет, не может быть. А почему, собственно, не может быть? – возразил он себе. – Может, увы. Профессия поначалу накладывает лишь отпечаток на человека. Потом она подчиняет его себе без остатка. Цинизм? Вероятно. А в общем-то, нет. Когда Левонушка был жив, мы дружили и нам было хорошо и честно друг с другом. Что ж демонстрировать отношение к мертвому? Это нетрудно в конце концов: постоял час на панихиде да водки выпил на поминках. Мерить отношения к друзьям надо мерой живых. Показушничать мы все любим – спасу нет».

Костенко зашел на Центральный телеграф, открыл сберкнижку на имя маленькой дочки Левона, положив десять рублей, как первый взнос, но тяжелое ощущение какой-то безысходной тоски и гадостности не покидало его весь остаток дня, пока он оформлял командировку в Свердловск, получал билет на самолет и ехал на аэродром, торопясь на последний рейс, с тем чтобы с утра начать работать в областном управлении – допрашивать свидетелей, знакомиться с заключением экспертизы, ворошить досье на автомобильных спекулянтов и просматривать во всех аптеках рецепты с круглой печатью – на сильнодействующее снотворное.

2

В девять утра Костенко проводил первый допрос. Кассир автомагазина сказала, что за два дня до убийства в помещении «толкались три новеньких».

– Мы же завсегдаеав знаем, товарищ полковник, они нам как родственники, а эти, новенькие-то, из южан, один небритый, по-своему разговаривали. А как это все случилось, они у нас больше и не появлялись.

Костенко обернулся к начальнику местного угрозыска:

– У вас фото завсегдаеав есть?

– Кое-что подобрали.

Костенко разложил перед женщиной-кассиром девятнадцать фотографий.

– Это Григорий Яковлевич, – быстро заговорила она, перебирая фотографии, как карты в пасьянсе, – Борисов, пенсионер, он хороший слесарь, а это Егор-кривой, его фамилия Кривых, к нам ходит все равно как на работу, каждый день, а это Петр Павлович. Нет, тех новеньких здесь нет.

– Одни «старенькие»? – Костенко усмехнулся. – Ладно. Пройдите с товарищами, опишите подробно внешность этих новичков – рост, цвет глаз, вам там объяснят, что нас интересует.

– Словесный портрет? – спросила кассирша. – Об этом по телевизору показывали. Только они у меня в голове смешались. Помню, однако, – один небритый, и все.

Потом он беседовал с вдовой Кикнадзе, маленькой седой женщиной в черном, с распухшим от слез лицом. Ее привезли с аэродрома прямо в управление, потому что Костенко знал по опыту – пусти ее сначала в морг, разговора не получится. Так уже было в Минске и Ленинграде: вдовы кричали, рвали на себе волосы, падали в тяжелом беспомоществе.

«Грузинки горше наших переживают, – объяснял тогда старик-санитар, – их мужики еще пока в руках держат, не распустили до полного равноправия».

– Кому же он мог звонить? – шепотом сказала женщина. – Кому телеграммы посылать? Никого у нас нет. Он честным трудом деньги заработал, он домой только на воскресенье приезжал, а так все в совхозе да в совхозе. За что такое горе нам, за что?! Говорила я ему: «Не езд, не надо, жили без машины столько лет, проживем еще, сколько Бог отпустит».

– Значит, никто из ваших знакомых не обещал ему свою помощь, не давал адреса в Свердловске?

– Нет. Господи, за что же, за что?!

Костенко попросил выяснить во всех гостиницах города, кто останавливался за три дня до преступления – «южане, один с бородой, а может быть, просто небритый».

Через два часа ему сообщили, что в гостинце «Урал» за три дня перед преступлением был снят люкс неким Гомером Барамия, уроженцем Тбилиси, 1935 года рождения, который был «высокий и с темным, то ли смуглым, то ли плохо выбритым, лицом».

Костенко связался с полковником Серго Сухишвили из грузинского уголовного розыска, и тот выяснил, что Гомер Барамия, доктор технических наук, действительно вылетал в Свердловск по командировке академии сроком на три дня на защиту кандидатской диссертации в Политехническом институте, где он был оппонентом аспиранта Кутепова.

– Был бы еще химиком, – усмехнулся Костенко, – куда б ни шло, а тут чистая техника – трубопрокат, к снотворным, судя по всему, товарищ Барамия отношения не имеет.

Костенко позвонил в Москву, попросил установить, в каких городах есть автомагазины, и предложил поработать над версией «трех новеньких», срочно выделив спецгруппы из райотделов милиции. Потом он пообедал вместе с начальником уголовного розыска и отправился в ту гостиницу, где произошло убийство, но его вызвали оттуда в управление, потому что позво-

нили из министерства и сообщили, что час назад в Москве, в гостинице «Украина», в номере 903, обнаружен находившийся в бессознательном состоянии гражданин Урушадзе, отравленный таким же способом, как и все остальные, проходившие по делу.

Костенко вылетел в Москву. Наконец-то появился первый свидетель: врачи обещали спасти Урушадзе. Видимо, он выпил несмертельную дозу снотворного.

Однако увидеть гражданина Урушадзе не удалось, поскольку он сразу же после того, как пришел в сознание и был помещен в отдельную палату, из клиники исчез.

Забрав в регистратуре паспорт Урушадзе, Костенко приехал в министерство, снова позвонил в Тбилиси, к Сухишвили, и через час получил сообщение, что интересующий Москву Урушадзе Константин Ревазович в настоящее время находится в санатории «Металлург», где работает садовником, а по совместительству в зимнее время – истопником, и что в последние дни из Гагры он никуда не выезжал. Сухишвили сообщал также, что о потере паспорта Урушадзе заявил в милицию еще месяц назад.

– Оштрафовали хоть? – хмуро поинтересовался Костенко.

– Нет, – ответил Сухишвили. – Безногий старик, инвалид войны, ограничились порицанием. Тем более его сын – ваш работник.

– Семейственность разводите, – пошутил Костенко. – Ладно. Вы отработайте, пожалуйста, когда, где и при каких обстоятельствах у старика исчез паспорт. Здесь фотография на паспорте хорошо приляпана – мужчина лет тридцати, совсем не похож на инвалида. Я вам вышлю оттиск сегодня же, посмотрите по карточке.

Опросив персонал клиники, Костенко выяснил только одну деталь: придя в себя, Урушадзе сразу же спросил, где находится его чемоданчик с документами. Когда ему ответили, что такого чемоданчика в номере не было, он попросил принести сердечные капли и вскоре после этого сбежал.

3

– А я к вам приходил туда, как велели, – сказал Мишаня, пропуская Костенко в квартиру. – А там ни пропуска, ни записки...

– Извини. Я улетел в тот день. Как с панихиды вернулся, сразу ноги в руки – и полетел. На поминки много народу пришло?

– Семьдесят шесть человек. Часть на лестничной клетке расположилась. Стулья вынесли, газетами накрыли, и как хороший а-ля фуршет.

– Соседи скандалили?

– Нет. Они его тоже поминали.

– Понятно. Жена где?

– На работе. А что?

– Ничего. Ты один здесь сейчас?

– Сын спит.

– Сколько ему?

– Два года.

– Молодец. Только знаешь, как говорят: один сын – не сын, два сына – полсына, три сына – сын.

– Это я слышал. А вы слышали, как один наш артист на школьную елку под банкой пришел? Не слышали? Так вот, работал он Дедом Морозом, это выгодная халтура. Пришел однажды, сел под елку и спрашивает детишек: «Дети, сколько Дед Мороз получит денег, если будет выступать десять дней по три раза на день? Учтите, что за каждое выступление ему полагается десять целковых!» Детишки хором: «Триста рублей, Дедушка Мороз!» Тут артист слезу вытер и возразил грустно: «Фига в сумку! А налоги?!»

- Это кто же такой?
 - У вас свои тайны, а у нас свои. Знаете вы этого актера, его многие знают. Так вот и я вам – по поводу трех сыновей: «А налоги?»
 - Серьезное замечание. Жена что делает?
 - Полковничек, вы не крутите, не надо, я вам нужен, так вы б проверку заранее провели, зачем меня пытаете? Прикидываете на мне какой-то замысел?
 - Прикидываю.
 - Это серьезно?
 - Серьезно.
 - Неужели вы думаете?.. – Мишаня брезгливо усмехнулся. – Я завязал, совсем завязал, ясно? Я работаю. Честно работаю. И я теперь не хочу знать ни вас, ни тех, кого вы ловите.
 - Ловлю я банду, которая угрохала трех человек, Мишаня. Это тебе не печки-лавочки.
 - Варварство, конечно, только я здесь при чем?
 - Ты можешь мне помочь.
 - Нет, я в эти игры никогда не играл, а уж теперь тем более играть не собираюсь.
 - Я, наверное, очень тебя подвел?
 - Чем?
 - Ну как же: легавый, а пришел к тебе домой...
 - Ко мне – пожалуйста. Я к вам не хочу, это прошу понять.
- В соседней комнате заплакал ребенок.
- Шурка проснулся, – сказал Мишаня, и лицо его смягчилось, разошлись жесткие морщины возле рта и над переносьем. Он быстро поднялся, ушел в комнату и вскоре вернулся с мальчиком, розовым со сна. Мальчуган был кудрявый, он удобно устроился на отцовской руке и хмуро разглядывал гостя.
 - Ну, давай занимайся с сыном, – сказал Костенко, поднимаясь, – я пошел.
 - Вы это... не обижайтесь. Я ведь не против вас лично.
 - А против кого ты «лично»? Что же мне тогда с тобой было делать, Мишаня? Ты же закон преступал.
- Мишаня подбросил сына на руке и усмехнулся:
- Вишь какое дело, Шурик? Смотри закон не преступай, а то упрячут в острог.
- Мальчик засмеялся и дернул отца за ухо.
- Ты не очень-то, – посоветовал Костенко, – сейчас дети умными растут, умнее нас с тобой. Не надо ему знать, что тебя сажали. Не шути так.
 - От суммы да от тюрьмы не зарекайся. Так говорится?
 - Это все ля-ля, Мишаня. С ума сойдешь от горя, случись с ним что.
 - Мой же отец с ума не сошел.
 - Так он у тебя алкоголик, какой с него спрос.
 - То есть как это, какой спрос! Он же отец! Он жизнь мне дал! Ничего себе, какой спрос.
 - Это хорошо, что ты так ерепенишься, – сказал Костенко, – это ты ерепенишься верно.
 - А то, что вам отказываюсь служить, это неверно, да? Так вас надо понимать?
 - Служить тебя никто не заставляет, Мишаня. Я к тебе за помощью пришел. Я объяснил тебе, что ищу банду, которая убила трех человек. Трех, ясно? Восемь сирот осталось. Ладно, это уже лирика. Будь здоров. И Шурке витамин А давай, в этом возрасте он очень нужен.
- Когда Костенко ушел, Мишаня поднял сына над головой и сказал, вздохнув:
- Что, парень, смеешься? Весело тебе, дурачку моему, да? Весело? Ну и веселись, пока я живой.

II. День делового человека

В Госплане Проскуряков провернул только полдела: сметы на расширение Пригорской аффинажной фабрики, вернее, цеха по обработке рубинов и гранатов были рассмотрены и в принципе одобрены, однако решение еще не состоялось, потому что второй день шла теоретическая конференция по внедрению автоматических счетных систем в народное хозяйство.

Однако Проскуряков успел зайти к Иволгину и объяснил ему, что те двести сорок тысяч, которые он просит на расширение производства, принесут отдачу уже через полгода, поскольку новую продукцию после предлагаемого расширения берет, что называется, на корню торговая фирма «Самоцвет», которая уже сейчас готова принять на себя определенную часть расходов.

– Вот пусть они вас и финансируют. – Иволгин посмеялся. – Прямая социалистическая кооперация, мы этого добиваемся и к этому идем. А вы норовите поспокойней, понадежней – урвать у государства, и вся недолга.

– Это меня-то в консерватизме? – в тон Иволгину ответил Проскуряков. – Побойся Бога, Мирослав Казимирович! Вы, между прочим, меня за крылья держите, вы! Позвольте мне отладить прямые контакты с фирмами, так я вас деньгами завалю, а вы – все нет и нет и по каждому моему шагу отчет требуете.

– Ладно, – ответил Иволгин, – я думаю, Юрий Михайлович, на следующей неделе вам спустят решение. Ситуация, по всему, в вашу пользу, да и вопрос-то в наших масштабах пустячный – двести тысяч.

– Двести сорок, Мирослав Казимирович, двести сорок.

– Не надо странных цифр, Юрий Михайлович. – Иволгин снова посмеялся. – Эту вашу хитрость – просить двести сорок, чтобы получить двести, все давным-давно поняли. Двести, друг мой, двести, на большее не рассчитывайте.

Из Госплана Проскуряков поехал в институт станкостроения: в лаборатории профессора Никоненко конструировались новые агрегаты для обработки минералов.

– Убиваете сами себя, – сказал Проскуряков, ознакомившись с опытными образцами станков с автоматическим управлением. – Милый профессор, человечество, и в первую очередь его инженерная мысль, рождает такие умные машины, что в конце концов нам программу станет диктовать станок, а не мы ему. Нас убьет автоматика, мы станем ленивыми, ожиревшими, наживем раннюю стенокардию. И не стыдно вам подталкивать человечество к гибели?

Никоненко попросил Проскурякова достать фонды на латунь, но Проскуряков сказал, что это практически невозможно, поскольку фонды распределяет Госнаб и на то, чтобы пробить это, придется потратить несколько недель, а то и месяцев.

– Пластмассы сюда никак не подойдут? – поинтересовался он. – У меня хороший дружок назначен командиром по пластмассам, это бы я смог сделать для вас очень быстро, профессор.

Потом Проскуряков отправился к директору паровозоремонтного завода: надо было получить несколько списанных локомотивов для внутризаводских линий; экономисты подсчитали, что на ряде заводов его системы значительно выгоднее эксплуатировать локомотивы, чем гонять автотранспорт.

Закрыв ладонью трубку, директор завода Самохвалов кивнул Проскурякову на кресло – садись, мол, – а сам продолжал устало объяснять собеседнику:

– Товарищ Захаров, я пятый раз вам повторяю, что могу, исходя из тех же фондов сырья и зарплаты, которые мне отпущены, давать двести процентов плана, удвоить выпуск продукции, но для этого санкционируйте мне свободу действий! Да, да, мне, товарищ Захаров! Не считайте меня самодержцем, пожалуйста! Профсоюзы мне не позволят обижать рабочий класс, да и сам я, между прочим, не из дворян, а из слесарей! Да, да! У меня по штату в КБ сорок человек, сорок молодцов с окладом от ста десяти до двухсот пятидесяти, а мне там нужно всего

пять человек с окладом от трехсот до тысячи! Да, да, именно до тысячи! И я должен иметь право объявлять ежегодный конкурс на замещение вакансий по конкретной теме, а не по специальности, записанной в дипломе! Ползунов, кстати, Политехнический не кончал! У меня осмечено двенадцать тысяч на телефонные разговоры с поставщиками, а вот трех толковых снабженцев с окладом в триста рублей и с представительскими я выбить не могу! Да, да, не могу, товарищ Захаров! Я отдаю двенадцать тысяч, а взамен прошу семь, но только так, чтобы этими деньгами можно было маневрировать, а не тратить их лишь потому, что они отпущены! У меня, понимаете ли, двадцать восемь вохровцев, а мне нужны всего три инструктора служебного собаководства и десять овчарок, но мне этого никто не позволит. У нас всем работы хватит! Нет, товарищ Захаров, это не истерика, а боль за порученное мне дело, и вы своим, понимаете, спокойствием не козыряйте! Значит, вы равнодушный чиновник, если спокойно меня слушаете! Вот так вот! А это уж ваше дело!

Самохвалов бросил трубку, выругался и полез за «Казбеком».

– Ну что ты будешь делать, а? – как-то изумленно сказал он. – И все указания дает, все поправляет.

– Я, знаете ли, товарищ Самохвалов, иной раз во сне вижу прошлые годы, когда чувствовал себя солдатом: день кончился, а служба идет. Живи себе, отчеты пиши – не каплет. А теперь хочется рвануть, и права для этого вроде бы дали, ан нет, все за фалды норовят ухватить, перестраховщики проклятые.

– У вас валидола нет? Я свой дома оставил. – Самохвалов отложил папиросу.

– Э, миленький вы мой, так нельзя. Надо бы нам с вами еще увидеть небо в алмазах... Я валидол не употребляю, только коньячок: пятьдесят граммов – и никакой боли.

– За пьянство во время работы прогонят. – Самохвалов усмехнулся. – Ну, что у вас? По поводу трех локомотивов? Я подписал, теперь вам надо поднажать на министерство, я туда отправил.

Проскураков вернулся к себе в главк только после трех. Он успел в столовую за полчаса до закрытия, но рассольник уже кончился, и отварная курица тоже была вычеркнута из меню. Проскураков запретил приносить ему еду в кабинет и вместе со всеми обедал в столовой. Иногда буфетчицы оставляли для него рассольник и курицу, но сегодня работала какая-то новая буфетчица, и ему пришлось довольствоваться порцией бульона и зразами с гречневой кашей.

В приемной его ждали человек восемь.

Первым вошел журналист, с которым они беседовали неделю назад, – готовилось выступление нескольких хозяйственников, и Проскураков «наговорил» большую, очень злую статью.

– Вот, – сказал журналист, – посмотрите, Юрий Михайлович, я тут записал ваши сообщения. Если согласны, завизируйте.

Проскураков взял карандаш и, делая быстрые пометки на полях, внимательно прочел все шесть страниц машинописного текста.

– Это, пожалуй, снимите, – попросил Проскураков, – вот эту фразу. Я здесь как пророк вещаю: поскромней надо. Я лучше поставлю вопрос, а вы уж от своего имени выскажете рекомендации.

– Со всем остальным согласны?

– Иначе бы я не говорил всего этого.

Потом он принял уборщицу Ануфриеву, которой комиссия исполкома отказала в двухкомнатной квартире, потому что один из ее троих сыновей недавно получил жилье.

Выслушав Ануфриеву, Проскураков сердито покачал головой и снял телефонную трубку.

– Так это же старший сын, Галина Федоровна, – говорил он секретарю исполкома, – у него своя семья, понимаешь? У Ануфриевой муж погиб в ополчении, одна трех хлопцев подняла. Двое-то с ней остались, причем один из армии пришел, не сегодня завтра жену приведет.

Он долго слушал ответ Галины Федоровны, а потом, нахмурившись, хлопнул ладонью по столу.

– Товарищ дорогой, давайте же наконец вытащим всех из подвалов! Хорошо, я передам в ваш фонд площадь из моих резервов; пусть наш управдел Сагадеев подождет, ничего, их трое. Ануфриевой надо помочь. Что рабочие скажут, Галина Федоровна, об этом следует думать, об этом! Да... Вот именно. Не стоит нам с тобой в этом вопросе конфликтовать. Да... Ну хорошо. Это ответ. Спасибо тебе. Она завтра зайдет. Кланяйся своему Миколу Ивановичу.

Он положил трубку, вздохнул, устало потер лицо и поморщился:

– Да не плачь ты, Прохоровна. Иди завтра получай ордер.

Потом он принял товарищей из Таджикистана и Хабаровского края, провел летучее совещание с директорами двух заводов, посмотрел на часы – было уже семь, вызвал к себе плановиков и попросил их подготовить проект приказа, не дожидаясь бумаги из Госплана, поскольку двести тысяч на расширение ювелирно-аффинажной фабрики будут, как и просили, отпущены; вызвал машину и собирался было уезжать домой, когда дверь кабинета неслышно отворилась и вошел Пименов.

Проскураков даже привстал с кресла от удивления и остро вспыхнувшего чувства тревоги.

Пименов быстро подошел к приемнику, включил его, настроил на «Маяк» и сказал:

– Плохо дело, Юрий Михайлович: Налбандов сгорел.

– Как? – шепотом спросил Проскураков. – Арестован?

– Пока нет. Приехал в Москву, идиот, машину покупать, он за машину отца родного продаст, влип в историю и дал деру. А поддельный паспорт оставил здесь, в Москве, и весь товар на девять тысяч исчез – тю-тю...

– Ну и что делать?

– Так я за этим к вам и прилетел, – ответил Пименов. – Только вы не волнуйтесь, я дождался, пока секретарша ушла, так что мы одни.

Проскураков достал из шкафа, где стояли ровные томики классиков и пухлые справочники, бутылку коньяка, налил себе пятьдесят граммов в зеленую мензурку и, покачав головой, странно усмехнулся.

– Вы что? – осторожно спросил Пименов.

– Так... Ничего, – откинувшись в кресле, ответил Проскураков и закрыл глаза. – Смешная у нас жизнь, товарищ дорогой. Сейчас... отдышусь, и поеду... Давай подсаживай в «Ласточку», там обсудим, что делать.

III. Вечер интеллигентного бандита

– Позвольте мне поднять этот бокал, – сказал Виктор Кешалава, – за режиссера, а в его лице за всю вашу группу. Мы, как я убедился сегодня, побывав на съемочной площадке и посмотрев вашу работу, ничего не знали о вашем, иначе не скажешь, рабском труде.

– Творчество – это свобода раба! – крикнул ассистент оператора Чоткерашвили. – Вам, инженерам машин, не понять инженеров человеческих душ!

– Не перебивайте, – попросил оператор, избранный тамадой на сегодняшнем субботнем вечере в «Эшерах», красивом ресторане, расположенном в горах, неподалеку от Сухуми. – Продолжайте, Виктор.

– Ваш труд, – продолжал Кешалава, – я хотел бы сравнить с трудом виноградаря. Не каждый знает, как много пота уходит на то, чтобы вырастить гроздь, напоенную солнцем, не каждый знает, как много труда уходит на то, чтобы снять ту гроздь, не каждый знает, сколько труда уходит на то, чтобы превращать виноград в сок, а уж сок сделать благородным вином. Зритель – как покупатель. Ни тот ни другой не знает, сколько кровавого пота уходит на то, чтобы сделать бутылку вина и чтобы создать фильм. Я пью за труд вашего замечательного режиссера, за здоровье большого художника Григория Марковича...

– Марка Григорьевича, – поправил Чоткерашвили, – имя и отчество режиссера – это вам не сумма слагаемых!

– За здоровье большого мастера, настоящего художника Марка Григорьевича! – продолжал Кешалава, быстро глянув на Чоткерашвили. – Пусть он вкусит плоды своего труда, как виноградарь, которого славят в песнях благородные горцы. Мы все знаем Марка Григорьевича как выдающегося представителя советской кинематографии, соратника великих мастеров мирового кино. За вас, мой дорогой! Всего вам лучшего! Исполнения всех ваших желаний!

Марк Григорьевич тяжело вздохнул – вчера из Ленинграда пришла телеграмма, в которой говорилось, что отснятый им материал раскритикован худсоветом, а этот фильм был его последней надеждой: предыдущие картины режиссера критика справедливо разносила за серость и холодное ремесленничество.

– Спасибо! – сказал Марк Григорьевич, поднявшись. Маленькие глаза его после двух рюмок становились кроличьими, красно-синими. – Спасибо, Виктор! Но я хочу, чтобы вы все выпили со мной не за выдающихся, а за средних режиссеров – на них стоит мировой кинематограф, на их седилах и инфарктах рождаются Феллини, Антониони, еще там кто-то и прочие Крамеры! Будем здоровы, Леночка!

Актриса, прилетевшая из Москвы на съемки, чуть усмехнулась. Если бы не срочная надобность в деньгах, она бы никогда не согласилась сниматься у этого режиссера, но ей предстояло платить второй взнос за кооперативную квартиру, и поэтому пришлось взяться за работу, в которую она не верила.

Кешалава подсел к актрисе и сказал:

– Вы сегодня покорили меня своим искусством, Леночка. Я смотрел, как вы изумительно работали на площадке. Как тонко!..

– Экран покажет.

– Что?

– Это поверье у актеров. Экран покажет, как работала – хорошо или плохо.

– Вы не верите простому зрителю?

– Не верю.

– Отрываетесь от народа, Леночка, нехорошо. – Кешалава улыбнулся. – Можно вас пригласить на танец?

– Не сердитесь, пожалуйста. Я очень устала, мне бы до подушки добраться.

Кешалава отошел к метрдотелю, и через пять минут на столе появилось десять бутылок коньяка «Дойна».

Леночка заметила, как Марк Григорьевич затравленно посмотрел на оператора, тот – на заместителя директора картины Гехтмана, а Гехтман – на Чоткерашвили: эти десять бутылок составляли месячную зарплату режиссера-постановщика. Чоткерашвили чуть кивнул на Кешалаву – мол, это он заказал, все в порядке, никому из нас не придется платить.

– Позвольте еще одно слово? – обратился Кешалава к тамаде. – Я понимаю, что нарушаю очередность, но я коротко.

– Слово Виктору, – сказал оператор. – Второй дубль, – добавил он под смех группы. – Первый был слишком длинный, да и Марк Григорьевич оказался не в фокусе.

– Я хочу просить всех наполнить бокалы и поднять их за здоровье очаровательного человека, нежной женщины и великой артистки, которая покоряет сердца и умы зрителей! За Леночку! Она сказала сейчас, что очень устала, но этот коньяк взбодрит ее, придаст ей сил, для того чтобы и завтра продолжать прекрасную работу, которая никого не оставляет равнодушным.

Кешалава выпил первым до конца и посмотрел на Леночку. Она улыбнулась.

– Не сердитесь, Виктор, но я коньяк не пью. Я вообще не пью.

– Совсем ничего?

– Глоток шампанского – это моя доза. Спасибо вам, не сердитесь, бога ради.

Кешалава снова отошел к метрдотелю, и через несколько минут официанты принесли дюжину шампанского.

– Этот инженер, – сказал Марк Григорьевич оператору, – не иначе как по совместительству пишет сценарии. Двести за коньяк плюс шестьдесят за шампанское.

– Вы обязаны выпить глоток, – говорил Кешалава, наливая Леночке шампанское в высокий бокал, – это солнце, во-первых, здоровье, во-вторых, и, наконец, в-третьих, это творчество!

Разъезжались из «Эшер» около двух. Кешалава попросил музыкантов задержаться, и еще часа полтора в ресторане шло веселье.

Ассистент Чоткерашвили сидел возле художника Рыбина. Тот катал по скатерти хлебные шарики и с тяжелой ненавистью смотрел на Марка Григорьевича.

– Как его пустили в искусство? – спрашивал он Чоткерашвили. – Зачем? Только наша демократия гарантирует права такой бездарии... У него диплом – и все тут! Значит, его нельзя прогнать взашей. А ему важен тот момент, когда он влезает в соавторы к сценаристу и получает постановочные, больше его ничто не интересует. Он ведь и актеру-то ничего толком показать не может, актерам неинтересно работать, им делается скучно, когда они видят его сонную физиономию.

– А ты чего злишься? Тебе ж с ним спокойно – никаких требований! Рисуй себе этюды, готовь персональную выставку.

– Я в творчестве не спокойствия ищу, я ищу в работе гибели.

– Иди в верхолазы, – предложил Чоткерашвили. – С твоей комплекцией сразу в ящик сыграешь.

Кешалава все же уговорил Леночку потанцевать с ним. Он танцевал по старинке, далеко отведя левую руку и прижимая к себе Леночку тыльной стороной ладони.

– Прекрасный джазовый коллектив, – говорил он, – обидно, что они играют в таком вертепе.

– Здесь очень мило, какой же это вертеп?

– Ну, все-таки. Они могли бы давать сольные концерты. А вам можно выступить с сольными концертами?

– Когда? У меня театр, в свободные дни – съемки, да и сейчас как-то не принято играть отрывки из спектаклей в концертах.

- Простите за нескромный вопрос, Леночка. Сколько вам платят в театре?
- Сто двадцать.
- Сто двадцать за спектакль?
- Леночка устало усмехнулась:
- В месяц, Виктор, в месяц!
- А за картину?
- Моя ставка – двадцать пять рублей за съемочный день. Здесь у меня будет дней двадцать. Вот и считайте.
- Вам должны платить сто рублей в день, Леночка!
- Актриса улыбнулась.
- Я стану миллионершей, а это плохо, Виктор.
- Почему?
- Потому что это убивает творчество.
- Ну, не знаю, лично мне, когда я сыт, лучше работается. Простите, Леночка, а вы замужем?
- Замужем.
- Я бы на месте вашего мужа умер от ревности: такая красивая женщина разъезжает одна.
- Мы с мужем исповедуем свободу.
- Да? Это как?
- Ну как? Трудно это объяснить. – Леночка вздохнула. – Пытаемся выстроить систему мирного сосуществования.
- Метрдотель подошел к Кешалаве и сказал:
- Извините, дорогой, но уже очень поздно.
- Кешалава протянул ему деньги, но метрдотель отрицательно покачал головой.
- Нет, спасибо. Вы уже за все заплатили. Я другое имел в виду – последний автобус уходит в город, мне пора домой.
- По дороге в Сухуми так громко пели песни, что усталый шофер обернулся и зло сказал:
- Тише, пожалуйста, у меня перепонки лопнут.
- Кешалава передал ему бутылку коньяка.
- На, милый, выпьешь дома, а сейчас не сердись, люди веселятся.
- Он проводил Леночку до дежурной по этажу, взял ключ от ее номера, отпер дверь, пропустил актрису вперед и, пока она включала свет, быстрым, кошачьим движением запер внутренний замок.
- Леночка удивленно обернулась.
- Мне не хочется с вами расставаться, – сказал Кешалава. – Что, если я останусь, а?
- Вы с ума сошли. Уходите сейчас же!
- Кешалава достал из кармана пиджака несколько крупных темно-красных камней. Он поиграл ими в ладони и положил на столик возле кровати.
- Гранаты... Каждый стоит сто рублей, Леночка! Их здесь тринадцать. Я люблю это число.
- Он подошел к выключателю и погасил свет.
- Уходите прочь! – сказала Леночка.
- Зачем же так?
- Он обнял ее и сильно привлек к себе.
- Леночка уперлась локтями в его грудь и сказала:
- Я сейчас закричу.
- Ты не закричишь, лапочка. Зачем тебе нужен скандал? Что твой муж обо всем этом подумает? Ты ж сама меня впустила. Разденься, Леночка, давай по-хорошему.
- Пустите меня, Виктор, пустите!
- Нет, Леночка, не пушу.

– Но я же не смогу раздеться.

– Вот умница, – сказал Кешалава и разжал руки. В ту же минуту Леночка выбежала на балкон.

– На помощь! – закричала она что было сил. – На помощь! Ко мне!

В номерах стал загораться свет.

Из соседней комнаты на смежный балкон выскочил старик-грузин.

– Что случилось, девушка?! Что случилось?!

– Что такое? – крикнул снизу дежуривший на площади милиционер. – Что там у вас?!

– Сюда! Скорей сюда!

Она кричала и все время боялась, что снова ощутит на своем теле быстрые, длинные руки Виктора, но в номере хлопнула дверь, и, когда вбежал запыхавшийся милиционер, а за ним на пороге появился полураздетый испуганный режиссер, Кешалавы в комнате уже не было. Только свет остро высверкивал в трех камушках, лежавших на стеклянном столике возле кровати, – видимо, Кешалава в панике не успел схватить все камни...

IV. Фактор времени

1

«В то время, когда вызванный мною следователь горотдела УВД Толордава допрашивал потерпевшую, актрису Торопову Е. Г., раздался телефонный звонок и человек, не назвавший себя, сказал Тороповой Елене Георгиевне, что если она донесет милиции о камнях, то он ее зарежет. Он предложил Тороповой взять себе оставшиеся на столике драгоценные камни, но никому не говорить, откуда у нее эти гранаты. Следователь Толордава попросил Торопову еще раз описать ему человека, и в результате проведенного оперативного мероприятия мы выяснили, что звонили из телефона-автомата № 679 около кафе „Мерани“.

Выделенные горотделом УВД спецгруппы блокировали вокзал и выезды из города по шоссе, пользуясь словесным портретом Кешалавы, составленным после допроса художника картины т. Рыбина А. К., ассистента режиссера т. Чоткерашвили Ш. У. и актрисы Тороповой Е. Г. Однако никто, похожий по приметам на Кешалаву, из города этой ночью не выезжал.

Зам. нач. отдела УВД,
старший лейтенант милиции Джибладзе».

«МВД СССР. Тов. Костенко. Сообщаем, что экспертиза НТО Сухумского горотдела милиции после проведения исследования на выявление степени ценности гранатов (дело № 12–75-а) обнаружила на трех камнях следы снотворного (порошок белого цвета, без запаха), идентичного тому, о котором вы разослали ваши запросы 15.8.1971.

Начальник отдела уголовного розыска майор милиции Шервашидзе».

«МВД СССР. Тов. Костенко. Сообщаем, что проверка гражданина Кешалавы Виктора начата по всем районам ГССР. Установлено 38 человек с этими именем и фамилией. Список прилагаю.

Зам. нач. отдела угро МВД ГССР полковник Сухишвили».

2

Степанова разбудил телефонный звонок.

– Митя, привет, это Костенко.

– Здравствуй, старичок.

– Я не разбудил тебя?

– Что ты! Я начинаю трудиться с шести.

– Ну слава богу. А то я испугался – у тебя голос сонный. Слушай, мне надо к тебе подъехать. Можно?

– Осел! Что значит «можно»?

– Это я демонстрирую уважение уголовного розыска к труду литератора.

– Ну извини. – Степанов усмехнулся.

– Да нет, пожалуйста... – в тон ему ответил Костенко. – Значит, я через двадцать минут у тебя.

– Голодный?

– Сытый.

– Жду.

Костенко приехал ровно через двадцать минут.

– Я к тебе на полчаса, старина. Ты мне нужен в качестве эксперта по кино.

– Что-нибудь интересное?

– Пока гиблое дело. Верчу. Начнет проясняться – расскажу. Помоги с кинематографом, Митя.

– Никто не в состоянии помочь кинематографу, – пошутил Степанов. – Даже уголовный розыск. Что именно тебя интересует?

– В киногруппе целый день вертелся чужой человек. Потом этот тип исчез, а мне он очень нужен – мы его давно ищем. Подскажи, с кем мне там поговорить, я ведь этого киношного мира не знаю. У кого мне спросить, скажем, мог ли посторонний, находившийся во время съемок на площадке, попасть в кадр.

– Поговори с ассистентом режиссера, он имеет много контактов с людьми, потому что именно ассистенты отвечают за актеров и за реквизит.

– То есть?

– Ну вот завтра у тебя съемка, а тебе нужно пригнать в кадр слона. Ассистент едет в зоопарк, интригует заведующего, обещает достать высокие сапоги жене бухгалтера и привозит слона. После этого на него кричит директор, почему он уплатил больше нормы зрителю, а режиссер кричит на директора и предлагает ему самому сыграть роль слона, а оператор сообщает, что солнце ушло, съемка в этот день отменяется, и ассистенту объявляют выговор.

– У тебя веселое настроение, Митя, это хорошо. Я бы посмеялся вместе с тобой, но у меня самолет. А мне надо выяснить, мог ли случайный в киногруппе человек попасть на пленку.

– Случайные люди могут попасть на пленку, Слава. Только, скорее всего, они попадут на пленку фотографа группы. Он обязан снимать каждую мизансцену. Вполне вероятно, что кто-то из посторонних может оказаться на втором плане. Поговори с гримерами. Попроси отобрать из сотни актерских фотографий те, где есть сходство – хотя бы типовое – с человеком, которого ты ищешь. Попроси их, наконец, загримировать актера под твоего подопечного. Если в группе был художник и он общался с тем гражданином Икс, попроси набросать портрет по памяти.

– У тебя какого-нибудь болеутоляющего нет?

– А что?

– Не знаю. Брюхо ноет. Вернее, болит. Говоря откровенно, чудовищно болит.

– Врачам показывался?

– Не рачок ли у меня, Митя?

– Идиот!..

– Это еще надо доказать... Ты же сам проповедовал, что наше поколение слабее пятидесятилетних, потому что те не знали радиации в детстве и городских шумов в юности.

– Это я проповедовал потому, что у меня у самого болело сердце и я думал, что перенес на ногах инфаркт. Ерунда. Отдохни недельку – и все пройдет.

– Левону тоже говорили – ерунда, все пройдет. А болело у него там же.

Костенко снова вспомнил Левона: за месяц перед смертью, когда он знал уже, что ремиссия кончилась и счетчик начал шершаво отсчитывать последние дни жизни, он позвонил Костенко и пригласил его на студию.

– Я хочу показать тебе материал, – сказал тогда Левон. – Кёс предложил мне сняться в его картине, я роль жулика играю...

Костенко приехал на «Мосфильм», и они сидели вдвоем в «яичном зале» (так в шутку называли маленький просмотровый зал, потому что он был декорирован ячеистыми картонками, в которые упаковывают яйца: выяснилось, что эти картонки хороши для звукопоглощения), и Левон пристально смотрел на Костенко, думая, что тот, увлеченный происходящим на экране, не видит его взгляда. А Костенко видел глаза Левона, он научился видеть все вокруг себя, и он видел в глазах друга такую боль, что в горле запершило, но он заставил себя засмеяться и, не поворачиваясь к Левону, сказать:

– Я не думал, что ты такой великолепный актер.
– Тебе не кажется, что я на экране выгляжу полным дохляком?
– Почему?
– Экран – хитрая штука, Славик... Он, как наждаком, сдирает всю неправду. Наивно думают, что грим спасет. Ерунда, грим еще больше подчеркивает...
– Что именно подчеркивает грим?
Левон достал сигареты, протянул Костенко. Тот кивнул на табличку «Курить строго воспрещается». Левон отмахнулся:
– Правила написаны для того, чтобы их нарушать...
– Ты не ответил мне, Левон...
– Э, ерунда!.. Я хочу нарушить правила, которые мне предложили в клинике год назад... Только не говори, Слава, что я хорошо выгляжу, ладно? Тогда я приглашу тебя консультантом в мою новую картину.

3

Художник кинокартины Рыбин, набросав по памяти портрет Кешалавы, сказал:
– Все-таки, товарищ полковник, лучше вам поговорить с нашим фотографом. Вдруг у него есть снимок этого самого Кешалавы.
– Вот он, – обрадованно сказал фотограф группы Сурахитдинов, достав из закрепителя сильно увеличенный негатив. – Видите, возле Леночки стоит. Это было на натуре, мы тогда снимали эпизод неподалеку от ресторана «Эшеры». Много машин останавливалось: все интересуются кино... Вот он, Кешалава, видите? А мне как раз надо было сделать повторное фото Леночки – гримеры с ее прической совсем заврались. То она в кадре с косой была, а то оказалась с завивкой. Снимаем-то как? Сначала играем финал, а потом начинаем снимать начало. Без моих снимков каждой сцены можно все забыть, все напутать, а потом как фильм склеивать?
Костенко снова посмотрел на портреты Кешалавы, которые ему сделал Рыбин, и сказал:
– Похож, а? Так ухватить. Молодец ваш художник. Вы эту пленочку мне дадите часа на два, ладно?
– Хорошо.
– И не надо никому говорить, что мы с вами тут Кешалаву нашли.
– Понятно.
– Ай да художник, – повторил Костенко, – ай да глаз-ватерпас!
– Глаз-ватерпас – это когда водку по стопкам точно разливают.
– Каждый понимает слово в меру своей испорченности, – заметил Костенко и, забрав пленку, поехал в горотдел милиции.

Усталость, которая давила его последние дни, прошла – он сейчас чувствовал приближение серьезной работы.

Через пять часов, после того как в Москву был отправлен портрет Кешалавы, по областным управлениям внутренних дел было разослано двести фотоснимков преступника.

4

– Товарищ Чоткерашвили, попробуйте восстановить в памяти, каким образом с вами познакомился Кешалава.
– На съемочной площадке, товарищ Костенко, это было на съемочной площадке... Операторы снимали сложный кадр, а Кешалава стоял рядом со мной и говорил, какой это каторжный труд – кино...
– А каким образом он оказался с вами в ресторане? У вас был какой-нибудь праздник?

– Да какой там праздник... Кончили работу, до города ехать час, решили скинуться и поужинать в «Эшерах».

– Кешалава ничего вам о себе не говорил?

– Сказал, что он инженер, приехал в Сухуми отдохнуть. Мы с ним перекинулись парой фраз – он наблюдал, как мы снимали сцену около «Эшер». Вероятно, услышал, что мы решили поужинать, и пристроился к нам. Мы, кинематографисты, народ демократичный, не спрашивать же с каждого личный листок по учету кадров... Разговор у меня с ним был пустячный, он все на Леночку смотрел. Вроде бы мне ничего конкретного не говорил.

– Он не говорил вам, где остановился?

– Нет. Зачем ему было говорить об этом, если я не спрашивал?

– Логично. Теперь вот что: он не рассказывал вам о своей узкой специальности? Инженер – это слишком общо.

– Он сказал, что занимается холодильными установками.

– Холодильными установками? А в связи с чем он вам это сказал?

– Он меня спросил на площадке: «Вы режиссер?» Я ответил ему, что я ассистент режисера. И его спросил: «А вы?» – «Я инженер. А что такое ассистент? Заместитель?» – «Почти, – ответил я. – А вы инженер в какой области?» – «Холодильными установками занимался».

– «Занимался»? Или «занимаюсь»?

Чоткерашвили нахмурился, вспоминая, потом задумчиво посмотрел на Костенко и ответил:

– «Занимался». Он сказал «занимался». Он еще сказал: «Я сделал все мои дела и теперь хочу хорошенько отдохнуть. Хочу покойфовать вволю».

– Вот видите, как хорошо вы меня понимаете. Давайте-ка теперь сами помозгуйте в этом направлении. Меня интересует все, каждая мелочь, любая подробность, только в кратком выражении...

– «Подробно» только тогда подробно, когда кратко, – заметил Чоткерашвили.

– Это точно, – согласился Костенко. – Абсолютно точно. И так?

– Одет он был очень изысканно. Не так, как одеваются пижоны, а очень скромно и дорого. Наша костюмерша, помню, сказала: «Так теперь шьют только три мастера в Союзе».

– А как зовут эту костюмершу?

– Любовь Трофимовна.

5

– Любовь Трофимовна, кто, по-вашему, шил костюм Кешалаве?

– Откуда ж я знаю, товарищ полковник. Я не Мессинг. Лучший закройщик делал – это точно. А таких – раз-два и обчелся.

– Давайте загигать пальцы.

– Что? – Женщина удивилась.

– Раз-два и обчелся. Вот и начнем счет.

– Замирка.

– Что? – Теперь удивился Костенко. – Какая Замирка?

– Это фамилия закройщика в Москве. Замирка. Великолепно работает. Милютин, и Гринберг в Ленинграде, Калнин в Риге и Тоом в Таллине. Да, еще Куров хорошо шьет во Львове и Нимберт в Одессе.

– Вы говорили Чоткерашвили, что теперь так шьют только три мастера.

– Не помню я, что ему говорила.

– Ну хорошо. А кто лучше всего шьет?

– Замирка, Гринберг и Милютин, – сразу же ответила женщина, и Костенко не мог скрыть улыбки.

«Все-таки женская логика совершенно разнится с нашей, – подумал он, – и с этим ничего не поделаешь. Сплошные импульсы и чувствования».

– Ну а Кешалаве кто из этих трех мог шить?

– Трудно сказать. Плечи вшиты по-американски, внутрь, а так теперь умеет только Замирка делать. Но Замирка больше любит букле, это фигуру утяжеляет, для худых это хорошо, торс кажется могучим. А цвет Замирка обычно предлагает нейтральный – серый, пепельный, коричневый. А у Кешалавы у этого синий костюм, гладкий, миллионерский.

– Почему миллионерский?

– Скромный. Очень скромный, но зато все линии отработаны, и шлицы – разрезы мы называем – замечательно сделаны, и пуговицы плоские, из ореха, а не пластмассовые. И главное – цвет. Синий цвет сейчас самый миллионерский. Наш автор рассказывал, как он в Нью-Йорке пошел на Уолл-стрит посмотреть миллионеров. Ну вышли там из банка два мужика – все в переливных костюмах, ботинки на каучуке, подошва в ладонь, рубашки розовые, сели в красный автомобиль, и наш автор решил, что это и есть миллионеры, а ему спутник его, американец, показал на старикашку в синеньком костюме, который ждал такси. «Это, – говорит, – настоящая акула бизнеса, а те пажоны – мелкие клерки».

Костенко посмеялся вместе с женщиной, – видимо, она очень любила эту историю о скромном миллионере и часто ее рассказывала, – а потом спросил:

– Любовь Трофимовна, а вот на мне какой костюм, можете определить?

– Венгерский. «Венэкс», пятьдесят второй размер, третий рост.

– В милицию не хотите перейти работать?

– У вас платят мало.

– Старыми сведениями пользуетесь.

Женщина улыбнулась.

– Тогда подумаю, товарищ полковник. Могу еще сказать, что пиджачок вам перешивали – обузили спину и рукава укоротили.

«Поскольку я работаю в ателье, то у меня нет свободного времени для работы на дому. Ничего добавить к этому показанию не могу.

Мастер-закройщик Замирка».

«В последние два года я не работаю дома, поскольку финорганы требуют непомерные налоги. Являюсь мастером-закройщиком ателье высшей категории № 67. Избран членом профкома.

Мастер-закройщик Милютин».

«Я работаю в ателье № 12 и дома заказов не принимаю. Больше добавить мне нечего.

Мастер-закройщик Гринберг».

С закройщиками работали параллельно: Костенко в Москве, подполковник Тимофеев в Ленинграде. Работали они по одной схеме, утвержденной начальником угрозыска страны.

Угро министерства действовал четко, как отлаженная машина, подчиненная некоему «закону ритма». Дежурные сидели у аппаратов ВЧ на связи с республиками и областями; люди в научно-техническом отделе в пятый и в десятый раз искали хоть малейшую зацепку, наново анализируя все то, что было привезено с мест происшествия; оперативные группы дежурили во всех автомагазинах страны; были блокированы аэродромы и вокзалы; работники архивов подняли старые досье на всех тех, кто когда-либо был связан с автомобильными аферами и мошенничеством. Преступник был обречен, все решало время, ибо ум, воля, опыт десятков и сотен людей были подчинены одной задаче – найти бандита и обезвредить его.

6

– Гражданин Замирка, – сказал Костенко, убирая в папку объяснение закройщика, – теперь мы с вами перейдем ко второй стадии нашего разговора.

– Можем перейти хоть к третьей, товарищ полковник, но от этого существо дела не изменится, и я не напишу вам ничего нового. Не могу только не высказать удивления: неужели у вас нет более важных дел, чем проверять доносы соседей по лестничной клетке?

– Пишут? – поинтересовался Костенко.

– По-моему, у вас здесь на меня скопилась «Война и мир» из доносов. – Замирка усмехнулся.

– Надо бы почитать.

– Неужели государству – это я так, в порядке заметок на полях, – будет очень плохо, если мне позволят шить на дому?

– По-моему, нет.

– Я ездил туристом в Венгрию и ГДР; там, между прочим, тоже социализм, и ему не мешают портные, отдающие государству хорошие деньги в налоговые отчисления.

– Вы меня напрасно убеждаете в этом. Я согласен с вами, полностью согласен.

– Вы согласны, но попробуй-таки я шить, как меня сразу же тянут за хобот в ОБХСС и делают каким-то пособником классового врага.

Костенко устало прищурил глаза.

– Ладно. В отправных экономических оценках мы с вами сходимся. Теперь перейдем к шершавому языку юриспруденции. Я хочу просить вас подписаться вот тут. Предупреждение, что вы будете привлечены к уголовной ответственности за дачу ложных показаний по этому делу.

– По какому именно?

– Сейчас отвечу. И здесь, пожалуйста, распишитесь. Спасибо.

– Пожалуйста.

– Так вот. Сейчас я вам предъявлю для опознания фотографию преступника. У него костюм шит первоклассным мастером. Первоклассным.

– Помилуйте, помимо меня, в Москве есть еще двадцать первоклассных мастеров!

– С ними я тоже побеседую. Только сначала позвольте мне закончить, ладно?

– Слушайте, товарищ полковник, зачем вы делаете из людей преступников?! Зачем вы заставляете людей нарушать закон, вместо того чтобы приучать их следовать букве и духу закона? Ну я шью, шью! Я шью дома! Я не напишу этого, естественно! И у вас не будет доказательств. Я шью народным артистам, которым надо отстаивать престиж Союза в Каннах и Венеции! Да, я шью! Я патриот моей Родины, и мне обидно, если наши режиссеры поедут в Канны, одетые как выдвиженцы в пору военного коммунизма! Я хочу, чтобы они поехали туда как внуки выдвиженцев военного коммунизма, которые представляют державу Спутника! Да, да, я очень волнуюсь, когда говорю об этом, и не надо мне предлагать воду! Вода тут не поможет! А народные артисты и лучшие режиссеры никогда не предадут несчастного Замирку, для которого так дорог престиж советского художника! Я получаю за это деньги?! Так за престиж всегда платили! Я же не прошу себе государственной премии! Я прошу честной оплаты за честный труд!

– А я ведь с вами опять-таки не спорю, товарищ Замирка.

– Слава богу, из гражданина я снова стал товарищем.

– Посмотрите на это фото.

– Очень похож на Отара Чиладзе. «Отец солдата», помните?

– Помню. Только это не Отар Чиладзе.

– А я и не сказал, что это Отар. Я сказал, что он похож на Отара.

– Этот человек у вас не шил себе костюм? Он убийца и грабитель. Поверьте мне, я не хочу ловить вас, товарищ Замирка. Просто этот парень очень опасный бандит. А у нас мало данных, за которые мы смогли бы зацепиться.

– Товарищ полковник, клянусь вам, я не видел его ни разу в жизни.

– Я верю вам.

– Почему вам мне не верить?! Слушайте, дайте подумать до завтра, и я подскажу, с кем стоит о нем поговорить. Он шил из своего материала или пришел к мастеру голый?

Костенко вздохнул:

– Милый человек, если б мы знали, с какими материалами он ходит.

Зазвонил телефон. Костенко снял трубку.

– Алло, товарищ полковник, это Тимофеев. У Кешалавы на послезавтра назначена примерка. Он заказал себе два костюма как раз накануне того дня, когда вы приезжали по последнему эпизоду. То есть в день перед ленинградским убийством он пришел к Милютину шить обновки.

7

Совещание у комиссара, начальника управления МВД Союза ССР, началось сразу же, как только Костенко систематизировал и разложил по числам все полученные за последние часы материалы.

– А если он, пока мы его станем водить, отравит еще одного человека? Вы можете дать гарантию, что этого не случится? – спросил комиссар.

– Могу. Пожалуй, что могу.

– Мне импонирует ваша уверенность, полковник. Но его профессия отлична от вашей. Он людоед. Понимаете? Он спокойно наблюдает за тем, как отравленные им люди медленно умирают, а потом, надев перчатки, спокойно их грабит и не забывает взять со стола бутылку и стакан... Это – хладнокровие людоеда... Допустите на миг, что он ушел от слежки, сел на другой самолет и встретился с очередной своей жертвой. Попробуйте «проиграть» свое состояние, когда он оторвется от наблюдения.

– Попробовал. – Костенко нахмурился.

– Ну и как?

– Его надо брать.

– Я понимаю, что этим усложняем себе задачу, усложняем до предела. Когда вы возьмете Кешалаву, вам предстоит поединок, сложный поединок, и я убежден – вы этот поединок выиграете. Во всяком случае, добьетесь, как говорят спортсмены, преимуществ и захватите инициативу. А когда вы установите, где теперь так называемый Урушадзе, зачем он скрылся из больницы и почему этот человек воспользовался чужим паспортом, ваша позиция сразу же укрепитя.

– Урушадзе мы сейчас ищем так же тщательно, как и Кешалаву. Я не знаю, кто сейчас для нас важнее.

– С точки зрения профессиональной, – заметил комиссар, – конечно же, Урушадзе. Он есть ваше главное доказательство. Однако с точки зрения ЧП, с которым мы столкнулись, все-таки Кешалава важнее. Не поймите меня так, что я против разработки линии Урушадзе, отнюдь. Просто давайте научимся отделять злаки от плевел – древние в этом смысле были мудрей нас. И прочитайте вот это письмо, – сказал комиссар, – министр просил ознакомить вас с этим письмом. Можете прочитать вслух, пусть все послушают.

«Уважаемый товарищ министр!

Обращается к вам Кикнадзе Мария Илларионовна, вдова убитого в Свердловске Кикнадзе Шота Ивановича. Товарищ министр, мой муж тридцать лет работал бригадиром в нашем совхозе, прошел войну, был ранен, награжден орденом Красной Звезды. Его все любили в районе. А какой он был отец! Осталось у меня на руках шесть сирот. Младшему – восемь лет... Последние пять лет все наши трудовые сбережения муж откладывал на машину марки „Волга“ в экспортном исполнении. Все деньги, которые мы скопили, у него украли, и мы остались с детьми без средств к существованию. А преступники до сих пор не найдены. Я каждый день хожу в нашу милицию, но мне говорят, что идет работа. Сколько же будет идти работа?! Один сотрудник сказал, что нечего было за машиной ездить к спекулянтам. А разве бы он поехал в Свердловск, если бы можно было пойти в наш магазин и купить „Волгу“?! Зачем класть тень на покойного?! Он свои деньги заработал честным трудом и к спекулянтам никогда в жизни не обращался, потому что был замечательным и честным человеком. А еще я вас прошу, товарищ министр, пусть нотариус перепишет на меня дом, чтобы его продать, потому что нечем кормить детей, а нотариус говорит, что я войду во владение только через полгода, потому что, может, у него еще какая жена была раньше или есть братья, которые свою долю захотят. Тут такое горе, человек погиб, незабвенный Шота Иванович, а они такое про него говорят. Я-то сама только для того на свете осталась жить без него, что детишек жалко. Товарищ министр, вы скажите тем милиционерам, которые ищут ирода, что Шота Иванович был самым хорошим человеком на земле, таких других и нету. Как он с детишками любил играть! И с дочками играл наравне с сыновьями, никого никогда не обижал. Как кому помочь надо было, так он свое откладывал и к людям шел. Он для людей ничего не жалел, а его убили.

Остаюсь с уважением к вам
М. И. Кикнадзе».

8

- Алло, это съемочная группа «Карнавала»?
- Да.
- Кто говорит?
- Васильев, помреж.
- А... Здравствуй, помреж.
- Здравствуйте. Кто это?
- Костенко это.
- Добрый день, полковничек.
- Мне сказали, что Торопова сегодня у вас снимается?
- Верно сказали, ЧК не дремлет.
- Попроси ее позвонить мне.
- Не будет она вам звонить.
- Это почему ж, Мишаня?
- А потому, что она рассказывала, как ее в Сухуми обижали, а милиция ушами хлопала на первом этаже.
- Кто ее обижал, не говорила?
- Говорила. Все говорила. Гаденыш, бандит с драгоценными камнями. Стрелять такую сволочь надо.
- Что ты говоришь?! Значит, бандитов стрелять надо?! Значит, если я его поймаю, ты мне спасибо скажешь?
- Скажу.
- Подонок ты, брат, – сказал Костенко. – Настоящий трусливый подонок.
- А ведь это оскорбление, полковничек.

– Это правда, а не оскорбление. Может, я именно этого бандита искал и тебя просил помочь. Что молчишь? А?

– Хотите, я к вам заеду?

– Зачем?

– Поговорить.

– О чем?

– Я же не знал, что это он.

– А я и сейчас не убежден, что это он. Приезжать ко мне не надо, Васильев. И говорить я с тобой не хочу. Живи себе, помреж. Только Торопову попроси мне позвонить.

У. Человек, изучивший кодекс

1

Кешалаву взяли в Ленинграде в тот момент, когда он примерял пиджак. Обернувшись, он удивленно спросил сотрудников, предъявивших ему постановление на арест:

– А в чем, собственно, дело, товарищи?

– Вам это объяснят.

Кешалава пожал плечами:

– Можно надеть пиджак или вы повезете меня в рубашке?

– Зачем же в рубашке? В рубашке холодно. Только мы сначала вас обыщем.

– У вас есть на это соответствующее разрешение?

– Вот. Ознакомьтесь.

– Понятно. Пожалуйста, я к вашим услугам.

Кешалава был спокоен, только побледнел, и в уголках его рта залегли решительные, не по годам резкие морщины.

... Через три часа его привезли в Москву.

– Ну, здравствуйте, – сказал Костенко. – Надеюсь, вы понимаете, в связи с чем задержаны, Кешалава?

– Нет, я не понимаю, в связи с чем я арестован.

– И мысли не допускаете, за что вас могли взять?

– И мысли не допускаю.

– Понятно, – задумчиво протянул Костенко и подвинул Кешалаве сигареты. – Курите.

– Я не курю.

– Долго жить будете.

– Надеюсь.

Костенко неторопливо закурил: он ждал, когда Кешалава снова спросит его о причине ареста, но тот молчал, спокойно разглядывая кабинет.

– Вот вам перо и бумага, напишите, пожалуйста, где вы жили и чем занимались последние три месяца.

– Я не буду этого делать до тех пор, пока не узнаю причину моего задержания.

– Вы обвиняетесь в попытке изнасилования, – сказал Костенко и чуть откинулся на спинку стула: он с напряженным вниманием следил за реакцией Кешалавы на предъявленное обвинение. Как правило, человек, совершивший особо крупное преступление, узнав, что его обвиняют в другом, менее серьезном, выдает себя вздохом облегчения, улыбкой, переменной позы, наконец. Однако Кешалава по-прежнему был очень спокоен, и выражение его красивого лица ничуть не изменилось.

– Вот как? Кто же меня в этом обвиняет?

– Вас обвиняет в этом актриса Торопова.

– Простите, но среди моих знакомых Тороповой нет.

– Елена Георгиевна Торопова – не знаете такую?

– Ах, это Леночка? Вы так торжественно произносили фамилию, будто речь идет о Софи Лорен.

– Значит, Леночку Торопову вы знаете?

– Да.

– Где вы с ней познакомились?

– В Сухуми, на съемках.

– Вы признаете себя виновным?

– Нет, не признаю.

– Тогда я повторю мою просьбу: напишите мне, как вы проводили последние три месяца, где жили, чем занимались.

– Насколько я мог вас понять, меня обвиняют в попытке изнасилования. Я познакомился с Леночкой в Сухуми неделю назад. Почему вам требуются прошлые три месяца? Я не совсем увязываю обвинение с вашей просьбой.

– Обстоятельства, сопутствовавшие вашему посещению номера Тороповой, таковы, что они, именно они, эти обстоятельства, – медленно говорил Костенко, затягиваясь и делая длинные паузы, – вынуждают меня просить вас об этом. За последние три месяца были зафиксированы серии подобного рода изнасилований. Ясно?

– Каковы эти обстоятельства?

– Ну, знаете ли, у нас получается какой-то беспорядок: не я вас допрашиваю, а вы меня, Виктор Васильевич. Если вам не угодно написать о том, где и как вы жили последние три месяца, мне придется задавать конкретные вопросы. Предупреждаю об ответственности за дачу ложных показаний, – сказал Костенко, включая магнитофон. – Вам об этом известно?

– Читал в романах.

– Следует понимать так, что вы к судебной ответственности не привлекались? – Костенко прищурился.

– Именно так.

– Сегодня у нас пятнадцатое сентября. Меня интересует, где вы находились пятнадцатого июня.

– Я дневников не веду. В июне я жил на море.

– Где именно?

– У меня расшатана нервная система, поэтому я долго нигде не засиживался. Бродил по берегу, забирался в горы. Июнь – месяц теплый, спать можно всюду.

– Значит, вы все эти месяцы ни в гостиницах, ни на частных квартирах не жили?

– Ну почему же? Жил, конечно. И в Сочи жил, и в Очамчири, и в Гагре. В Батуми жил, в Новом Афоне. Получить номер довольно трудно, поэтому точно вам ответить, в каких именно городах я ночевал в гостиницах, не могу, но вы это легко установите, обратившись к администраторам.

– Вот я и хочу это сделать. Только надо, чтобы вы помогли мне. В каких именно городах из перечисленных вами вы останавливались в отелях?

– В Сочи я жил в «Интуристе». В Батуми – тоже. В Гагре я, кажется, ночевал на частных квартирах.

– Адрес не помните?

– Точный не помню, где-то возле рынка.

– В Сочи вы были в июне? Или в июле?

– Что-то в конце июня. Я прошел пешком от Сочи до Сухуми – по берегу.

– Помогало?

– В чем?

– В лечении нервной системы.

– Да. Очень.

– Собирались в этом году продолжить занятия в аспирантуре?

– Почему «собирались»? Я собираюсь это сделать, как только мы кончим рассмотрение предъявленного мне вздорного обвинения.

– Вы убеждены, что врачи позволят вам это сделать?

– Да, я прошел комиссию.

– Когда?

– Неделю назад. Ваши сотрудники отобрали все мои документы – там есть справка врачебной комиссии.

– А что у вас было с нервами?

– Усталость, раздражительность, бессонница.

– Элениум пили?

– Нет, у меня были другие медикаменты.

– Раздражительность прошла?

– Почти.

– Усталость?

– Прошла совсем.

– Сон?

– Наладился.

– Спали под шум волн?

– Именно.

«Он! – отметил для себя Костенко. – А зачем снотворное в кармане, если сон наладился?»

Костенко просмотрел несколько листков на столе и спросил рассеянно:

– Скажите, а как к вам попали эти самые драгоценные камни? Гранаты?

– Не понимаю вопроса.

– Вы оставили в номере у Тороповой три крупных драгоценных камня.

– Здесь какое-то недоразумение.

– Вы не верите Тороповой?

– Если она говорит, что я оставил у нее камни, то, конечно, я не могу ей верить. Если бы вам это говорили свидетели...

«Парень хорошо изучил кодекс, – снова отметил Костенко. – Гвозди бьет по шляпке».

– Вы к ней в номер входили?

– Да.

– Зачем?

– Чтобы донести ее сумку с костюмом и пальто.

– А что было потом?

– Потом я зашел в отель «Абхазия» к моему тбилисскому знакомому, переночевал у него – было ведь около трех часов утра – и на завтра уехал в Сочи.

– Поездом?

– Нет, на попутной машине. А оттуда я прилетел в Ленинград.

– А зачем вы приехали в Ленинград?

– Я обязан отвечать на этот вопрос?

– Обязаны.

– В Ленинграде меня консультировал профессор Лебедев, и я решил показаться ему, перед тем как приступить к занятиям.

– Вы помните фамилию вашего знакомого, у которого вы ночевали в «Абхазии»?

– Конечно. Гребенчиков Анатолий Львович.

– Адрес?

– Я не знаю его адреса. Он преподаватель математики в нашем институте.

– В какой клинике работает профессор Лебедев?

– В военно-медицинской академии.

Костенко снял телефонную трубку и начал звонить в Ленинград и Тбилиси с просьбой проверить показания Кешалавы. Он намеренно это делал сейчас и, наблюдая за арестованным, все более поражался его спокойной уверенности.

– Продолжайте, пожалуйста, – сказал Костенко.

– А мне, собственно, нечего продолжать. Если у вас есть вопросы, я готов ответить на них.

Костенко, не торопясь, снова закурил.

– Вопросов у меня много, но вы, я вижу, устали. Отдохните в камере, завтра мы продолжим нашу беседу.

– Я хочу написать письмо прокурору. Вы позволите?

– Да, пожалуйста.

Когда Кешалаву увели, Костенко еще раз прослушал запись допроса и сделал на листке бумаги несколько замечаний:

«1. Зачем нужно снотворное, если сон налачился? Возможный ответ: „Кто страдал бессонницей, тот всегда таскает в кармане снотворное“. – „А откуда к вам попало такое сверхсильное средство?“ – „В политехническом есть химфак, а там есть друзья“. – „Кто?“ И тут он, сукин сын, назовет имя.

2. „За последние три недели вы только на одни костюмы истратили семьсот рублей, не считая гостиниц и пятисот рублей в «Эшерах». Откуда деньги?“ – „Отец помогает“. – „Ложь, мы с отцом говорили“. – „И троюродный брат. Такой-то“. А там уже все оговорено заранее: версия прикрытия».

Костенко связался с научно-техническим отделом грузинского МВД и попросил внимательно посмотреть все карманы в костюмах Кешалавы, которые висели у того в гардеробе.

Судя по показаниям костюмерши, на Кешалаве при аресте был тот же синий пиджак с двумя шлицами и «рукавами, вшитыми по американскому раскрою».

Костенко не стал «раздевать» Кешалаву в кабинете: это могло бы насторожить арестованного. Зная, что Кешалаву не судили и никогда раньше аресту не подвергали, он решил «раздеть» его в тюрьме, пригласив понятых, мотивируя это необходимостью проведения судебно-медицинской экспертизы: «Ищем следы крови; насильник избивал женщин».

После этого Костенко написал запросы врачам, лечившим Кешалаву. Его интересовало, в частности, показаны ли были Кешалаве снотворные, и если да, то какие именно.

К концу дня позвонили из Ленинграда:

– Товарищ полковник, профессор Лебедев действительно наблюдал больного Кешалаву. Профессор воевал вместе с Кешалавой-старшим, и тот попросил осмотреть сына. Говорит, у парня расшатаны нервы.

– Объективные показатели: давление, например? Кардиограмма?

– Это все в норме. Бессонница, раздражительность.

– Сделайте копию с истории болезни и вышлите мне немедленно. Посмотрите, какого числа он был у профессора на приеме.

– А чего же смотреть? Я все выписал. Сейчас, минуточку. Значит, так. Девятого июня, двадцатого июля и тринадцатого августа.

Тринадцатого августа в Ленинграде, в гостинице «Южная», был убит человек – в водке снотворное, особо сильное, недозированное, – через шесть часов наступила смерть.

– В какое время он был у Лебедева на приеме?

– Утром. В десять.

«Костюм он заказывал днем, – отметил Костенко. – Значит, сразу от портного он поехал в автомагазин. Если это он. А мне, судя по всему, очень хочется думать, что это был именно Кешалава. Почему? Рассуждение от противного? Невиновный, взятый под стражу, будет бушевать или останется спокоен, но не так спокоен, как Кешалава. Он будет скрывать гнев, обиду, волнение. А этот ведет себя как актер, точно отрепетировавший сцену. К сожалению, это не доказательство. К делу это не пришьешь».

Сухишвили позвонил около семи, когда Костенко собирался уходить домой.

– Слава, милый, задержался, прости! Но зато я Гребенчикова прямо сюда привез, сейчас я его приглашу в кабинет и передам ему трубку.

– Ты гений, Серго, – сказал Костенко, – мадлобт, генацвале, спасибо тебе.

Гребенчиков долго кашлял в телефон. Он кашлял так близко и громко, что Костенко был вынужден далеко отстранить трубку. Пока Гребенчиков кашлял, Костенко успел записать на бумаге три вопроса – он любил перед допросом, даже таким странным, по телефону, прочесть те вопросы, какие хотел задать.

– Скажите, пожалуйста, вам фамилия Кешалава известна?

– Виктор? Конечно. Он наш аспирант.

– Когда вы его последний раз видели?

– В Сухуми. А что?

– Он был у вас в гостинице?

– Он ночевал у меня. А что случилось?

– Сейчас объясню. Он был пьян?

– Ну что вы... Нет... Он не пьянеет, он хорошо пьет... Он со своими друзьями из киногруппы выпил немного сухого вина в «Эшерах». А что случилось?

– Тут на него женщина жалуется, говорит, плохо он себя вел, обидеть ее хотел.

– Этого не может быть, – сразу же ответил Гребенчиков, – они все штабелями перед ним валяются: такой красивый парень, такой интеллигентный.

– А когда интеллигентный парень от вас уехал?

– Утром. Рано утром. Мы поехали в «Эшеры» – это его любимый ресторан, там позавтракали, и он на попутке уехал в Сочи.

– Ну спасибо вам, трубочку теперь полковнику передайте.

Сухишвили спросил:

– Как? Что-нибудь есть?

– Ничего нет, Серго. Кроме того, что уже известно, – ничего. Ты побеседуй с этим Гребенчиковым, ладно? Спроси, с кем Кешалава дружит, с кем дружил, нет ли среди его дружков химиков.

– Завтра жди моего звонка.

«Если бы не эти камни, – подумал Костенко, запирая в сейф бумаги, – Кешалаву нужно сразу отпускать с извинением. Показания Тороповой никем не подтверждены, это он прав. Без исчезнувшего из больницы Урушадзе я ничего с этим парнем не поделаю, я не смогу прийти в суд без улик, меня на тачке оттуда вывезут».

2

Поднявшись на четвертый этаж, Костенко зашел к Садчикову.

– Ну что, дед, – спросил он, – есть какие-нибудь новости из Пригорска?

– П-пока никаких, – ответил Садчиков, – но там роют землю.

– Плохо роют.

– П-примем меры, товарищ полковник, – пошутил Садчиков. – Простите за н-нерадивость.

– А в чем дело? Почему так долго?

– Видишь ли, С-слава, там б-болен их начальник ОТК, а без него трудно подойти к технологии.

– Мне не нужна технология.

– Я имею в виду тех-хнологию возможных хищений.

– Когда он выздоровеет, этот ОТК?

– Неизвестно. Он уехал в командировку и там заболел.

– Вызвать нельзя?

– Пытались.

– Ну и что?

– Не могут доискаться. Он прислал телеграмму: «Тяжело болен. Налбандов». И все.

Костенко вдруг поднялся с края стола – он всегда, еще с того времени, когда работал на Петровке, 38, любил сидеть на краешке стола, – полез за сигаретами и, еще не веря в удачу, тихо спросил:

– Когда он уехал в командировку? И куда?

Садчиков вздохнул:

– М-можно завтра, Славик?

– Дед, прости, милый, нельзя.

Садчиков открыл сейф, достал папку, долго листал телефонограммы и перебирал бумажки, потом ответил:

– З-значит, так. Налбандов Павел Иванович выбыл в Москву в командировку пятого сентября сего года по приказу заместителя директора Гусева.

– А шестого отравили Урушадзе.

– Мне с-скучно с тобой, К-костенко. Я понимаю тебя д-даже без взгляда в глаза. А еще говорят, что телепатия – лженаука. Кибернетика тоже считалась, между прочим, буржуазной лженаукой. Ты хотел спросить меня: п-просил ли я наших коллег показать фотографию с паспорта исчезнувшего Урушадзе на ювелирной фабрике?

– Точно.

– Слава, дорогой, именно поэтому ты теперь м-мой начальник, а я д-дожидаюсь пенсии. Ты умнее меня и моложе, и эти два ф-фактора трудно оспорить, как это н-ни печально для меня и благоприятно для общества.

– Значит, не показывали?

Садчиков отрицательно покачал головой и снял трубку.

3

«Фотография, снятая с паспорта Урушадзе Константина Ревазовича, предъявлена директору завода Пименову, заместителю директора завода Гусеву и начальнику отдела кадров Бурояну. Лицо, изображенное на фотокарточке, ими опознано – это начальник ОТК фабрики Налбандов Павел Иванович.

Начальник отдела

управления уголовного розыска МВД

Армянской ССР полковник Токмасын».

VI. Личные связи

1

Проскуряков умел анализировать свои поступки и настроения, глядя на них как бы со стороны. Это качество развивалось в нем исподволь: он и не догадывался об этом до того времени, когда однажды не приехал Пименов и не привез огромный, странной формы рубин.

– Передайте, товарищ Проскуряков, супруге – от меня ко дню ангела.

– Ты что?! – сказал тогда Проскуряков. – С ума сошел?! Это же подсудное дело! Забери и забудь об этом раз и навсегда!

– Юрий Михайлович, вы погодите бледнеть, дорогой мой человек. Этот камень я во время отпуска сам нашел, это ж отдых у меня такой – по горам лазать! Одни водку жрут, другие по бабам шлендают, а я камни ищу, что здесь предосудительного?! Недра-то у нас кому принадлежат? То-то и оно – народу. И обработал я камень сам, руки-то мастеровые, Юрий Михайлович, мне труд в радость.

– Сколько ж такой камень стоит?

– Он уникальный, Юрий Михайлович, его оценить трудно, да и ни к чему: разве можно оценить рисунок ребенка, который он дарит матери? Или рисунок Репина! Это ж кощунство – оценивать искусство! – Пименов посмеялся. – Искренность ребеночка тоже поди оцени. Не оценишь ведь. Сколько он сердечка в свой рисунок вкладывает?!

– Ты мне, Пименов, не крути, – тихо сказал Проскуряков. – Ты сразу мне говори: чего хочешь?

– Я? Юрий Михайлович, да что вы! Если вы меня так понимаете...

– Не глупи, Пименов. Не глупи. Потом тебе труднее будет к этому разговору возвращаться.

Пименов замер на мгновение, и Проскурякову даже показалось, что тот обмяк в кресле, делаясь маленьким, как надувная резиновая кукла, из которой выходит воздух.

– Закурить позволите? – осторожно глянув на Проскурякова, спросил Пименов.

– Кури.

– Может, где в другом месте побеседуем, Юрий Михайлович?

– А зачем? Мне некого бояться. Что, думаешь, слушают нас? Честных людей теперь не слушают, Пименов.

Пименов поднялся, так и не закурив.

– Чего-то я не очень все понимаю. Вы извините, Юрий Михайлович, если я что не так сказал.

– Сядь. Презумпция невиновности – слышал про такое?

– Приходилось.

Проскуряков включил приемник, вышел из-за массивного, ручной резьбы стола и сел в кресло напротив Пименова.

– Успокоился?

– Успокоился, Юрий Михайлович. Вы спрашивали, чего я хочу, да? Так вот, я отвечу вам. Я хочу, чтобы вы моему производству помогли не по должности, а по сердцу.

– То есть ты хочешь, чтобы я тебе в первую очередь давал станки, фонды на стройматериалы и утверждал тебе смету получше?

– Да, Юрий Михайлович. Я ничего непредусмотренного не хочу. Я ведь презумпцию невиновности тоже по-советскому, по-нашему понимаю.

– А взятку мне зачем суешь? Этот камень стоит рублей семьсот, Пименов, я в этом деле, конечно, не такой дока, как ты, но смысл понимаю. «Жене ко дню ангела». А я такой доверчивый, да? Сижу тут у себя в кабинете, на «Волге» раскатываю и ничегошеньки вокруг себя не вижу – ты, верно, так полагал?

– Нет, я так не полагал, Юрий Михайлович. Полагая так, я бы вам этот камень не рискнул предложить, – зло сощурившись, медленно ответил Пименов. – Я знаю, где вы с экономисточкой из отдела труда и зарплаты встречаетесь. Я знаю, в какие кафетерии вы с ней ходили на первой, так сказать, стадии романа. Но я не знаю, где вы достали деньги, чтобы она внесла пай на кооперативную квартиру. Вы человек честный, это всем доподлинно известно, и поэтому вам будет очень трудно, Юрий Михайлович, расплачиваться с долгами.

Проскуряков тогда взял со стола папку с письмами директоров фабрик, нашел там докладную записку Пименова с просьбой выделить для нужд развивающегося производства токарные станки и сверлильный полуавтомат, попросил у Пименова ручку и написал размашистую резолюцию: «Отказать! Нельзя думать только о своем предприятии, надо научиться в первую голову думать о развитии отрасли».

– На, – сказал он. – Держи. Чтоб тебе зря в Москве деньги в гостинице не проживать.

Пименов внимательно прочитал резолюцию, виновато улыбнулся, аккуратно сложил докладную записку и спрятал во внутренний карман пиджака.

– До свидания, Юрий Михайлович, – сказал он, поднимаясь. – Извините, если что не так. Я к вам шел с открытым сердцем, хотите – верьте, хотите – нет.

Когда он взялся за ручку двери, Проскуряков его окликнул и попросил вернуться.

– Садись, – сказал он хмуро и вздохнул. – Хорошо, что не стал меня страшить: если, мол, вы про меня, так и я на вас. Ты на мою резолюцию пожалуись. Напиши, что, мол, я не понял смысла твоей просьбы, пусть профком тебя поддержит, общественность. Понял?

– Понял. Не один раз ведь придется.

– Это как дело пойдет.

– Понял, – повторил Пименов и, забыв спросить разрешения, закурил «Север», достав папиросу чуть трясущимися пальцами.

– Камень-то свой забери, – сказал Проскуряков. – Он мне не нужен, тут ты ошибку допустил, чудака-человек.

Пименов спрятал камень и, приблизившись к Проскурякову, сказал уверенно и грустно:

– Деньги нужны? Понимаю. Вот на первое время, Юрий Михайлович. Тут тысяча.

– Это не деньги, Пименов. Это треть денег за мой тебе отказ. Мне нужно три тысячи. Ясно? Прямо сейчас. А то могу решить, будто ты меня дешево ценишь и за дурачка принимаешь.

– У меня с собой еще полторы. Я доеду и вернусь мигом, если обождете.

– Ладно. За тобой останется. Когда мне понадобится, тогда я тебе просигналю. И давай уговоримся: каждую третью твою просьбу я буду заворачивать, понял? А эти деньги, что ты мне в долг дал, я верну, со временем выплачу до копейки. Проценты не попросишь? Или чтоб как в сберкассе?

2

Три года все шло, как и раньше. Проскуряков был таким же, каким был всегда. Он твердо сказал себе, что взятку не берет, что деньги, которые ему вручал Пименов, взял в долг; получил он в общей сложности шесть тысяч. Этого хватило на квартиру «экономисточке» Оле, на мебель и на три их с Ольгой поездки в Гагры. Дома его жизнь шла по-прежнему – скучно, размеренно, на зарплату.

Все изменилось год назад, когда Пименов, приехав в очередную командировку, разложил перед Проскуряковым схему. Получалось по этой схеме, что за три года главк по личным предписаниям Проскурякова выделил Пригорской ювелирно-аффинажной фабрике дефицитных фондов и станков больше, чем всем другим предприятиям, однако на фабрику пришла только третья часть отпущенных материальных ценностей общей стоимостью на шестьсот сорок тысяч рублей.

– Получается так, Юрий Михайлович, – сказал тогда Пименов, – что ты, воленс-ноленс, стал фактическим главой нашей фирмы. Я ведь те станки, что ты нам выбил, и медь с алюминием не турку продал, а приспособил для дела, для большого дела. По мастерским я эти станки распределил, по верным моим людям, и производят эти станки товары опять-таки не для турка, а для советского человека. И если я это производство отладил, то тебе теперь пора его возглавить. Куда ни крути, как от этого ни уходи, а уйти никуда не уйдешь. Пойми меня верно, Юрий Михайлович, я тебя не запугивать собираюсь, не вербовать, я тебе правду говорю: придешь с повинной, получишь десять лет, а сами заберут, так максимум пятнадцать. В нашем возрасте эта разница – не разница. Будешь слушать или погонишь меня из кабинета?

Анализируя себя и свои поступки после этого разговора, Проскуряков в который уже раз поражался тому, как гибок человек и способен к самовыгораживанию. Он точно помнил строй тогдашних своих размышлений. Когда Пименов объяснил ему структуру предприятия и рассказал, что в основу дела положена *категория дефицита*, он долго сидел молча, неторопливо затягиваясь «Герцеговиной Флор». (Единственное, что он себе позволил, получив лишние деньги, так это сменить «Казбек» на «Герцеговину»: он чувствовал себя значительно и спокойнее, когда курил эти папиросы.)

Он мог бы на этом этапе остаться прежним Проскуряковым – так казалось ему. Стоило только снять трубку и позвонить, куда следует звонить в таких случаях. Но он остановил себя, потому что не совсем точно понимал, куда именно в этом конкретном случае надо звонить. То ли в министерство, к Константину Павловичу, то ли сразу в милицию.

«В конце концов, – думал он, – факт получения мною этих проклятых шести тысяч недоказуем. А мои отказы на некоторые прошения Пименова лежат в архиве. Там же есть и его обращения в вышестоящие инстанции с жалобами на мои отказы. Выходит, я помогал ему под давлением сверху. И опять-таки недоказуемо, что именно я направлял его в эти стоящие надо мной инстанции и что именно я объяснял ему, как следует формулировать просьбы, мотивируя их требованиями технического прогресса и повышения производительности труда. Вой поднимет? Видимо. Ну снимут меня. Ну и что? Буду работать простым инженером. Впрочем, инженером меня не поставят – высшего образования нет. Вот где главный мой промах: все в кресло лез, все поскорей хотел выбиться в люди, а надо б институт кончить – диплом, он как железная кольчуга теперь. А, черт с ним, завхозом поставят, ну и что? Все свобода, а не тюрьма».

Но он сразу же представил себе будущую жизнь свою – на восемьдесят рублей в месяц; жену, которая и так пилит его, что мало денег; он представил себе, что каждый вечер ему придется проводить дома, и не будет уже спасительных «совещаний», когда он мог спокойно бывать у Ольги, и не будет командировок по обмену опытом, куда он мог ездить вместе с ней, – словом, не будет всего того, к чему он привык за двадцать лет своей руководящей работы и особенно за три последних года, когда не надо было вертеться дома ужом, и выносить унижительные скандалы Ирины Петровны по поводу недоданных в семью денег, и выдумывать истории про вычеты за пользование государственным транспортом.

– Не дело ты затеял, Пименов, – сказал тогда Проскуряков. – Закроют твою контору, и помирать придется в лагере строгого режима.

– У нас лагерей теперь нет, Юрий Михайлович. У нас исправительно-трудовые колонии. Только я туда попадать не собираюсь. Я вижу, что вас сомнение гложет. Вы позвольте структуру

объяснить, вам сразу спокойней станет. Я ведь фирму не из пальца сосал, я изучил все современные проблемы нашей экономической науки. Я вопрос кооперации производства и внутриотраслевой интеграции как «Отче наш» вы зубрил. Смотрите, что получается, Юрий Михайлович. Пока у нас еще есть возможность деловому человеку спокойно жить, людям помогать и самому на черный день откладывать. Пока я, директор, должен ждать вашего указания, а вы – министерского, а министерство – планового, я, директор, пальцем не шевельну, чтобы поперек вас пойти, мне инфаркт ни к чему, да и года у меня не те, я пору «горения на работе», слава богу, пережил и умудрился даже давление нормальное сохранить. Я и тогда пальцем не шевелил без указа. Зачем? Прикажут – исполню. Сверху видней, как говорится. Но это все лирика, Юрий Михайлович. Про кооперацию в журналах пишут – значит можно, так ведь? Вот я скооперировался с мастерскими. Мой рабочий, фабричный, сразу в народный контроль попрет, если я ему лишку закажу. А в мастерской рабочий заказ исполняет – все по-честному, все для народа, как говорится. И не себе я его товар заберу, а обратно через торговую сеть реализую другому трудящемуся. Только для этого я должен знать конъюнктуру рынка, так сказать, *категорию дефицита*. Чего в магазине нет, что государство упустило, то мы должны наверстать. А новейшими станками, да еще при наших-то фондах, – что вы, Юрий Михайлович! И по большому счету посмотреть: разве мы народу плохо делаем? Мы ж ему, народу, товар поставляем, а не турку какому.

– Ты не юродствуй, не юродствуй, Пименов, ты меру знай.

– А я и не юродствую. Вот сейчас я из осколков граната отладил выпуск иглоков для проигрывателей. Их нет в магазинах, на них государство валюту тратит, а проигрывателей с пластинками – завал. Жизнь у народа веселей пошла, трудящийся желает музыку слушать, а иглоков-то у него нет! А я ему иглоки поставляю – разве я плохо делаю для страны, Юрий Михайлович? Разве я виноват, что игл у нас мало производят?!

– Так почему ты этот вопрос не поставишь? Почему не докажешь, что это можно у тебя на производстве организовать?!

– Юрий Михайлович, милый, да разве ты мне на это отпустишь сто сорок тысяч?! Окстись! У тебя ж у самого руки повязаны.

– Я с тобой на брудершафт не пил, Пименов, давай без фамильярности.

– Это я увлекся, Юрий Михайлович, прошу прощения. Можно продолжать?

– Ну...

– Так вот, из отходов, которые я б так или иначе списал, на станках, которые так или иначе простаивают половину времени без пользы, я на свой страх сделал десять тысяч опытных иглочек для проигрывателей. У меня токари выточивают детали для головки, на сверлильном обрабатываем пластмассу, а один человек камешки шлифует. Чистая прибыль нам с вами и третьему моему человеку по две косых. Вот прошу, и расписываться не надо, все как на бирже.

– Погоди ты, дверь не заперта.

– Нет, я защелкнул, когда заходил.

Проскураков спрятал деньги в карман и сказал:

– Готовь письмо по поводу иглоков этих самых. Будем налаживать производство в государственном масштабе.

– Будет сделано, Юрий Михайлович. А у меня к вам встречная просьба как к главе предприятия.

– Какого там еще предприятия?

– Нашего главка.

– Вот так. И чтоб никаких фирм!

– Ладно, согласен. Вы к начальству поближе, так узнайте в Госплане, что они планируют, а что временят. Вот списочек. – И Пименов передал Проскуракову листок бумаги, где были

указаны наименования товаров, которые пользуются наибольшим спросом в магазинах, особенно в хозяйственных.

– Посадят тебя, – уверенно сказал Проскуряков, ознакомившись со списком. Он вернул его Пименову и повторил: – Неминуемо посадят.

– Ни в коем случае. Я ведь в газетах о моем деле не оповещал, Юрий Михайлович. Когда ко мне корреспонденты из газет приезжают, я только про фабричных передовиков разоряюсь. А вот со мной один человек работает, так я о нем ни гугу, хотя он так камни точит, что ни одному передовику не снилось. Налбандов, вы его помните, наверное.

– Из ОТК?

– Да.

– А как ты реализуешь товар?

– Мой шурин – директор магазина в Москве. И все. Больше народа нет. Как же мне провалиться? Дурнем надо быть. Или хапугой. А я ОБХСС уважаю, я товар сбываю небольшими партиями.

– В магазинах пускают по липовым накладным?

– Зачем по липовым? Я эти головки к проигрывателям собираю экспериментально. По тысяче штук в квартал. А выход готовой продукции у меня тридцать тысяч. Так что накладные по форме. – Пименов закурил свой ломаный, искрошившийся «Север» и, достав из папки еще один лист бумаги, положил его перед Проскуряковым. – Тут моя просьба увеличить фонд зарплаты. Это откладывать нельзя, Юрий Михайлович, мне людям надо хорошо платить, чтоб недовольных не было, от них ведь вся кутерьма, от недовольных-то и обездоленных.

– Завизируй у юриста и в отделе зарплаты.

Пименов отрицательно покачал головой:

– Нет. Не надо, Юрий Михайлович. Они после вас легче завизируют, так они волынить начнут, а время у меня горячее, оно сейчас, как говорится, не ждет.

Пименов шел по прямому ходу: он знал, что Проскуряков собирается на отдых. Он выяснил, что «экономисточка» Ольга уходит в отпуск через неделю после Проскурякова. Пименов бил беспроигрышно; в этом ему помогало то, что они с Проскуряковым были людьми почти одного возраста: одному – пятьдесят семь, другому – шестьдесят два. А в эти годы привязанность – она уже последняя, самая что ни на есть дорогая, единственная. Хочется в этом возрасте почувствовать себя сильным и нестарым, а это только когда молодость рядом – красивая женщина, кто ж еще.

И Проскуряков подписал документ, который он не имел права подписывать. Впрочем, тем же вечером он придумал себе оправдание, хотя впервые за эти годы понял в глубине души, что оправдание-то липовое.

Какое-то время он ощущал тяжкое неудобство; оно было похоже на зубную боль – не острую, но постоянную. Однако, уехав на юг, Проскуряков постепенно стал забывать о разговоре с Пименовым, убеждая себя в том, что и на этот раз не случилось ничего непоправимо страшного. Иногда только, чаще всего под вечер, сидя с Ольгой на берегу и задумчиво глядя на зыбкую лунную дорожку, он думал: «В конце концов, будь что будет, только б подольше не было. До пенсии осталось три года, а когда пойдет седьмой десяток, кому я буду нужен? Ей, что ли? Зачем ей старик? Тогда и уйти из игры не страшно».

Однако, вернувшись в главк, Проскуряков неожиданно для самого себя сел и написал большое письмо в министерство. Он писал, что необходимо в самый короткий срок наладить серийный выпуск продукции, представляющей сейчас серьезный дефицит. Он перечислил все те наименования, которыми так интересовался Пименов, и проанализировал возможность в самые короткие сроки, без особых затрат, с отдачей в ближайшие же годы наладить реконструкцию ряда ювелирно-аффинажных фабрик и всех тех заводов и мастерских, которые входили в его систему.

Назавтра его вызвал заместитель министра. Недавно пришедший из Академии общественных наук, новый заместитель министра был человеком по теперешним временам молодым – ему только-только исполнилось сорок.

– Я прочитал вашу записку. Очень интересно это все. – Заместитель министра вдруг улыбнулся. – Кто сказал, что нет пороха в пороховницах у старой гвардии, а?! Словом, мы решили вашу докладную отправить в Совет министров и Госплан.

В лице этого человека было что-то такое располагающее, что Проскуряков внезапно ощутил огромную потребность рассказать ему все о Пименове, и о себе самом, и о тех деньгах, что получал за подлость, и об «экономисточке», которая на какой-то миг стала вдруг ему ненавистна, и показалось даже, будто именно она виновата в его падении, но сразу же представилось, как переменится выражение лица этого молодого заместителя министра, который так хорошо и проникновенно говорит сейчас о старой гвардии. Он представил, что скажи он всю правду, и начнется унизительная процедура сдачи дел, вызовов в милицию, допросов; впрочем, допросы и милиция рисовались ему как-то отдаленно и нереально. Самым страшным – и это он увидел явственно и близко – было отстранение от работы, потеря привычной уверенности в том, что он нужен, значителен, необходим в той отрасли, которой он отдал сорок лет жизни, куда пришел грузчиком и где стал начальником главка...

Выйдя из кабинета, Проскуряков ощутил колотье под лопаткой.

«Вот бы инфаркт хватил, – подумал он. – Персональная пенсия, и никаких тебе треволений».

Он приехал в главк и, не заходя в кабинет, поднялся в библиотеку.

– Роза Лазаревна, – сказал он, массируя левую ключицу, – мотор ноет, боюсь, не уложили б меня в постель. Вы мне подберите интересных книжек, а? Чтоб лежать не скучно было.

– Вы действительно побледнели, Юрий Михайлович. Хотите валидол?

– Нет уж. – Он слабо улыбнулся. – Я лучше сорок капель коньяку, сразу расширит сосуды.

– Что вам подобрать? Современную прозу? Нашу или зарубежную?

– Вы мне детективы подберите. Роза Лазаревна, наши детективы. Какие посерьезней, чтоб там и жулье и сыщики умные были.

Сказав секретарше, что едет домой отлежаться, Проскуряков вызвал машину, но попросил шофера высадить его в центре. Он прошел мимо «Арагви», увидел там большую очередь.

«Сволочи, – подумал он о людях, стоявших в очереди возле ресторанных дверей, – им можно здесь стоять! И не боятся, что кто-то из сослуживцев увидит; им можно сидеть в мраморных залах и есть цыпленка табака под чесночным соусом и пить водку из заплаканных льдистых бутылок».

Он был в «Арагви» только один раз, больше шести лет назад, после защиты главным инженером отдела геологических изысканий Меркуловым кандидатской диссертации. Но Проскуряков помнил и сейчас, помнил тяжело, до мельчайших подробностей этот ресторан и людей, которые там шумно веселились, много ели и пили, а когда оркестр играл «Реро», нестройно, но очень искренне подпевали безголосому певцу, одетому в национальный костюм горца.

Проскуряков зашел в маленькое кафе на Пушкинской, заказал двести граммов водки и бифштекс и долго сидел там. В голове у него метались странные обрывки мыслей, и он даже не пытался как-то организовать эти обрывки в единую линию и впервые остро почувствовал, что жизнь прожита, и конец ему не был страшен, хотя раньше он не мог думать о смерти без ужаса.

На следующий день он вызвал врача и, обложившись книгами, начал изучать детективные романы, стараясь найти в них какие-то параллели с тем делом, в котором он сейчас играл такую странную, двойственную роль. Однако чем больше он читал, тем явственнее становилось для него, что аппарат сыска так или иначе загонял в угол преступника.

«Глупые книжонки-то, – подумал Проскуряков, окончив чтение. – Писатели своим сыщикам помогают, мне они черта с два помогут... А то, что прихлопнут рано или поздно, так это и дураку понятно: один против тысячи не устоит...» Лежать дома, бездействуя, стало ему невыносимо и страшно. Уже на третий день он поднялся с постели, а когда прошла неделя, поехал к Ольге, сказав жене, что назначена процедура в поликлинике.

Через десять дней он вышел на работу, но в историю болезни доктор вписала строчки о первых симптомах стенокардии. Посетив Госплан и те министерства, с которыми он соприкасался по работе, Проскуряков решил действовать. Он вызвал Пименова и еще пять директоров на совещание и обговорил с ними планы по расширению и интенсификации производства. Когда совещание кончилось, он попросил Пименова задержаться и сказал:

– Те данные, которые тебя интересовали, я достал. Думаю, еще с полгода конъюнктура для тебя будет выгодная с иголками для проигрывателей, с малогабаритными насосами и сувенирами из «русских самоцветов». Так что спеши. Деньги мне приготовь к завтрашнему дню. Две тысячи это будет тебе стоить.

– Не беспокойтесь, деньги я принесу, – согласился Пименов, – только кого это петух клюнул в министерстве? Сидели себе спокойно, а тут эдакая деятельность.

– Не петух министерство клюнул, а я написал докладную записку. Ясно?

– Что ж, в этом тоже есть резон, Юрий Михайлович, – помедлив, задумчиво сказал Пименов. – Только близорукий это резон. Давайте уж до конца все обговорим, чтоб никаких у нас двусмысленностей не было. Я готов платить вам по четыре тысячи в год, итого до пенсии вашей десять тысяч соберется. Только вы б не очень меня с реконструкцией торопили, тут можно дров наломать, да и стоит ли сук рубить, на котором сидим? Смотрите, конечно, у каждого человека своя выгода. Не знаю, как вы, а я нищету на всю жизнь запомнил. Боюсь я нищеты, особенно нищеты в старости, Юрий Михайлович. Я вас страшать не хочу, но зря вы так поторопились, напрасно без совета такой шаг предприняли. Куда ни крути, а мы одним делом повязаны.

– Это ты верно говоришь, – задумчиво сказал тогда Проскуряков. – Только не знаю, как ты, а я по главку хожу и сотрудникам в глаза смущаюсь смотреть. Сидят рядом со мною честные люди и делают свое честное дело, а я... Нет, Пименов, я тебя торопить стану, очень я тебя буду торопить, по тому что иначе мне с собой не совладать, больно тошно мне. Когда еще днем, на работе, ничего, а вот как спать ложусь... Так что не жди, поблажек я тебе не дам. Побаловался – и будет.

А через месяц Пименов приехал и рассказал о провале Налбандова.

3

Когда они встретились в «Ласточке», маленькой барже, оборудованной под ресторан на набережной Яузы, Проскуряков начал говорить быстро, короткими фразами – точно так, как он выступал на планерках, отдавая приказы начальникам отделов:

– Проверь всю документацию по фабрике. Всю, за последние три года особенно. Проведи ревизию, собери совещание по хранению материальных ценностей. Попроси народ войти с предложениями. Дальше...

– погоди ты командовать, Юрий Михайлович, – спокойно сказал Пименов, не позволив Проскурякову закончить фразу. – Какая ревизия, какая документация, о чем ты? У меня отчетность в полном порядке, никаких хищений материальных ценностей не было, для иглолечек-то я использовал брак, списанный товар. Не о том ты тараторишь, ей-богу.

– Ты в каком тоне говоришь?!

– Тише, – попросил Пименов, – тут официанты все слышат. А говорю я в твоём тоне, мне, понимаешь ли, одностороннее «тыканье» надоело. И не время сейчас нам с тобой по мелочам цапаться, когда, как говорится, хата горит. Налбандова будут искать, ясно? Он из больницы

сбежал, а паспорт на чужое имя там остался. Вот в чем дело, Юрий Михайлович, а ты про ревизию. Что с Налбандовым делать? Куда его упрятать? Он ко мне ночью прилетел, клянется, что его никто не видел. А вдруг видели? Ну отправил я его в горы, там у меня шалаш охотничий есть, а дальше что? Ты вот о чем думай, а не о ревизии.

Проскураяков вдруг вспомнил эпизоды из тех книг, которые он изучал, когда был болен, и предложил:

– Пусть берет всю вину на себя.

– Какую вину?

– Товар-то пропал?!

– Товар, видимо, попал в руки того ферта, который Налбандова травил.

– Он раньше знал того ферта?

– Говорит, что знал, – ответил Пименов и выжидающе посмотрел на Проскураякова. –

Шапочно, говорит, знал. Учились когда-то вместе.

– Так пусть найдет его!

– И скажет: отдавай мои иголки? Или как? У него там иглоков было на девять тысяч. Или ты хочешь, чтоб он того ферта зарезал? А?

– С ума сошел.

– Да не сошел я с ума, Юрий Михайлович. Как раз не сошел. Только так другие и поступили бы на нашем месте. Было б у нас, как у них, – тут и вопроса нет: вызвал гангстера, дал деньги, и адье, молодой человек, привет.

– Сдурел? – снова переходя на шепот, спросил Проскураяков. – Ты что болтаешь?!

– Ну, значит, нам всем какую, Юрий Михайлович! Какую! Найдут Налбандова и спросят его, почему он ездил в Москву по чужому паспорту и зачем сбежал из больницы, едва врачи его от смерти откачали. Что он ответит?

– Пусть все отрицает.

– Как же ему свою фотографию на чужом паспорте отрицать?

– Пусть говорит, что ездил к любимой женщине.

– Как-то ты с перепугу ошалел малость, Юрий Михайлович, не думал я, что ты на излом такой хлипкий. Ты представь себе, что того ферта нашли и взяли у него налбандовский чемоданчик с нашим товаром. Вот ты себе что представь, мил человек!

– Ты зачем ко мне со всем этим делом пришел, Пименов? Тебе что от меня надо, а?

– А к кому же мне идти? К кому? У тебя связи, ты этим и ценен, Юрий Михайлович. Помимо уголовного и гражданского права, есть еще «телефонное право». Вот тебе и надлежит им воспользоваться, если ты серьезных акций опасаться. Так что принимай, милый, решение. От тебя сейчас зависит, как ситуация будет развиваться. Ты десять косых получил не за чистые глаза и красивую внешность. А это, между прочим, Государственная премия, ее другие люди всей жизнью добиваются! Как деньги тратить – так ты один, а как думать – «Зачем ко мне пришел?». Не пойдет у нас так! Изволь челюстью не трясти и со мной вместе спокойно думать, как выходить из переплета!

Проскураяков мгновенно перегнулся через стол и, резко вытянув руку с зажатым в ней фужером, ударил Пименова. Тот упал, и лицо его сразу залилось кровью. Проскураяков огляделся – в зале, кроме них, никого не было, несколько посетителей сидели на палубе, под открытым небом. Официанты на первом этаже что-то говорили и громко смеялись – там, в трюме этой маленькой баржи, помещалась кухня. Проскураяков обошел стол, толкнул Пименова носком ботинка и сказал:

– Вставай, сволочь, едем в милицию. Вставай, – повторил он и расстегнул воротник рубашки, который сейчас показался ему тугим, как ошейник.

Пименов поднялся, вытер кровь с лица и тихо сказал:

– Ну и тряпка же ты поганая, Проскураяков! Шваль, двурушник!

Когда Пименов произнес слово «двuruшник», Проскурякову вдруг стало страшно – так ему давно страшно не было. Он хотел что-то ответить Пименову, но ответить ничего не смог, потому что в горле странно забулькало, левую руку свело длинной болью, дыхание перехватило где-то ниже поддыха, и он упал со стоном, обвалившись шумно, как подпиленное большое дерево.

VII. Размышления в тюремной камере

«...Так... Это отпадает... Остается другое... Вот если он поднимет регистрации в Сочи... Правда, ему придется переворочить все гостиницы, дело это нелегкое... Если он пойдет на это, значит у него есть что-то еще, кроме этих чертовых камней. Если он все-таки поднимет все регистрации, тогда получится, что я жил в Сочи, в гостинице, как раз в тот день, когда они взяли меня в Питере... Подобное алиби может оказаться косвенной уликой. Кто мог подумать? – Кешалава повернулся на правый бок и натянул серое, пропахшее карболкой одеяло до подбородка. – Что у него есть? Надо еще раз пройтись по всей цепочке его вопросов. У него есть мои камни. Это серьезно. Действительно, откуда у аспиранта Кешалавы могут быть драгоценные камни? Не один, а несколько. Болван, купчишку начал из себя разыгрывать. Стоило потерять над собой контроль – и провал. „Откуда камни?“ – „Я не знаю“. На камнях, особенно таких маленьких, отпечатки моих пальцев вряд ли остались. А если? Ну и что? Оперся рукой о столик, на котором эти камни лежали. Да, но как могли появиться камни в номере этой шлюхи? „Задайте такой вопрос ей. Спросите, кто прислал в номер все те букеты, которые стояли тогда на подоконниках и на столе. Я ей букетов не присылал. Это, знаете ли, в манере грузинских князей – бросать к ногам женщины ценности. Но я не князь, я аспирант“. – „А откуда у аспиранта деньги на полеты в Ленинград и на шитье костюмов из английского материала у лучшего портного? Откуда у аспиранта эти семьсот рублей?“ Отвечаю: „Когда я заболел, моя тетька, Вартанова, урожденная Кешалава, подарила мне тысячу рублей на лечение и отдых, переведя эти деньги со своего текущего счета“. Нет, нельзя говорить „переведя“. Это протокол, это значит, что у меня заранее был готов ответ. Надо подумать сначала. Нет, сначала надо поинтересоваться, а отчего, собственно, мне задают подобного рода вопрос. Конституция гарантирует отдых каждому человеку, и он не обязан отчитываться в своих расходах до тех пор, пока ему не будет предъявлено обвинение. Пусть он начнет ставить свои капканы, я посмотрю, куда он будет клонить, а уж потом скажу про тетку. Как же хорошо, что я тогда подстраховался ею. Так. Что еще? Надо потребовать, чтобы он запросил мою характеристику в институте. Впрочем, стоит ли поднимать волну? Уже, видимо, поднялась. Наверняка он будет допрашивать Гребенчикова. А если сразу в наступление? „Раз Торопова говорит, что я насильник, так это принимается на веру, без доказательств?! Она была избита? Синяки, ссадины? Их нет? Или они есть? Порвана одежда? Или нет? Если я вам сейчас скажу, товарищ полковник, что неплохо было бы мне поскорее вернуться домой, – это что, можно мне инкриминировать как попытку побега?“ Надо подбросить ему по поводу „мирного сосуществования“ этой стервы с ее мужем. Это можно трактовать как угодно. Может, он ей развода не дает и ей нужен повод, откуда я знаю. Только не впрямую, это будет выглядеть как очернительство, мне надо вести себя поджентльменски. Кровь ищут на пиджаке. Это тоже за меня, никакой крови нет. Серия изнасилований. Надо же мне было перепить тогда в „Эшерах“. Нет, алиби у меня абсолютное. Только надо сохранять спокойствие. И не попасться по мелочам, когда он станет искать насильника и начнет ворошить гостиницы, где я жил».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.